

— Ф. ПИЗАНИ —

В СТРАНЕ

КИНО

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО — 1926

FERRI PISANI

AU PAYS DU FILM

(SOUVENIRS DE LOS ANGELES)

MOSCOU 1926 Leningrad

П 320

Ф. ПИЗАНИ

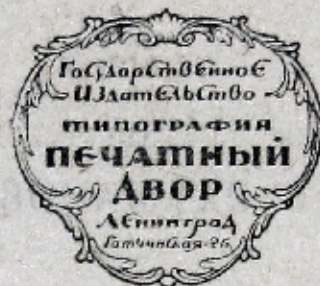
В СТРАНЕ КИНО

(ВОСПОМИНАНИЯ О ЛОС-АНДЖЕЛЕСЕ)

ПЕРЕВОД с ФРАНЦУЗСКОГО
В. В. РАХМАНОВА

С рисунками в тексте

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
МОСКВА 1926 ЛЕНИНГРАД



Гиз № 11877.
Ленинградский Гублит № 4791.
5 1/2 л. Отп. 5.000 экз.

ПРЕДИСЛОВИЕ К РУССКОМУ ИЗДАНИЮ.

Книга «В стране кино» не является серьезным теоретическим трудом, рассчитанным на внимание поседевшего на тайнах кинематографии специалиста; на ее страницах он не найдет для себя чего-либо нового, каких-либо сведений, освещающих неясные до сих пор стороны работы американского кинопроизводства.

«Тогда, — скажут, может-быть, некоторые, — это совсем не та книга, которая так нужна нам сейчас, которой все еще нет в нашей, более чем скромной, кино-литературе».

Пусть так, но зато это новый и увлекательный вид рассказа, и его с большим интересом пробегут те читатели, на которых он, в сущности, и рассчитан. Его прочтут тысячи безвестных кино-зрителей, восторженных поклонников немого искусства, ежевечерне заполняющих собою роскошные и убогие, великие и малые залы кино-театров, чтобы хоть на два часа забыть однообразный ритм житейских будней, поддаться обаянию серо-черных теней экрана, пожить вместе с героями фильма новой неведомой жизнью, увидеть другие страны, другой быт, другую — ослепительно-прекрасную — природу.

Такому читателю книга Пизани интересна и даже нужна. Интересна она потому, что дает ответ на многие вопросы, зарождающиеся в уме рядового кино-зрителя, который увлекается, главным образом, внешней стороной экрана, его показной мишурно-красивой стороной, величавой монументальностью его сооружений, красочностью и блеском жизни его любимцев, их туалетами, гонорарами и т. д. Ибо, что греха таить, с этого только и начинается увлечение кинематографом у многих тысяч его верных слуг и сторонников.

И вот, повторяем, для них эта книга не только интересна, но и нужна. Она покажет им, что за расточительной роскошью режиссерской отделки фильма, за белоснежным полотном экрана, за исполненной очарования улыбкой героини и ее пышной экранной жизнью стоит какая-то другая жизнь, куда менее прекрасная и привлекательная: жизнь, полная подчас горьких слез, незаслуженных упреков и оскорблений, жизнь, полная тяжелой, утомительно, иногда опасной работы, связанной с самой бесчеловечной эксплуатацией труда капиталом.

И все это автор подает в своей книге не в сухой, утомительной форме экономического и бытового исследования, а в виде увлекательных и живых очерков, в виде его собственных воспоминаний как участника и живого свидетеля описываемых им событий.

Пизани сам был кинематографическим артистом, работником студий Лос-Анджелеса. И в девятнадцати очерках своей книги он делится с читателем тем, что ему пришлось пережить в течение года там, где рождается фильм, где, по воле режиссера, актеров и всего многотысячного коллектива работников кино, получают стройное и художественное воплощение те образы, которые созданы в уме одного человека — автора сценария.

Лос-Анджелес! Кому не знакомо это твердое, звучащее металлической упругостью имя? Самый непритязательный поклонник Дугласа и Мэри знает, что Калифорния — страна кино, а Лос-Анджелес — ее столица. Город, который вырос — буквально, с молниеносной быстротой — из маленького местечка на далеком Западе, превратился в крупнейший производственный центр кинопромышленности, занимающий ныне третье место (после металлической и текстильной промышленности) в общегосударственной экономической жизни Америки. Город, который, как фата-моргана, притягивает к себе десятки тысяч людей, чающих попасть в Фербэнксы или Пикфорды, мечтающих о полной сказочной роскоши жизни, о баснословных гонорарах и славе. Город, который ежегодно выпускает столько пленки, что ею можно бы несколько раз опоясать земной шар. . .

И вот об этом городе, о жизни и работе в нем рассказывает нам Пизани. Он хорошо изучил физиономию этого единственного в мире города, он хорошо знает его нравы и быт. И, вместе с Пизани, читатель узнает о том мучительном разочаровании, которое переживают попавшие туда искатели славы, и вместе с ними, он содрогнется от холода монотонного «приветствия»: *Nothing doing*,¹ которым встречает вновь прибывших безумцев *casting director*;² вместе с ним читатель будет выстаивать томительные часы в огромных залах агентств, вербующих статистов; вместе с десятками и сотнями женщин и девушек он будет переживать скорбный путь к объективу съемочного аппарата, ведущий часто в цепкие объятия режиссеров, их помощников и других не менее сильных в Лос-Анджелесе людей. Читатель узнает о том, как беспощадно эксплуатируются там несчастные «экстра» за те пять долларов, которые так редко выпадают на их долю, какой опасности увечья и даже смерти подвергаются они во время массовых и трюковых съемок.

¹ Работы нет.

² Директор, заведующий приемом кино-артистов.

В книге Пизани читатель найдет и любопытные подробности о том пути, по которому шли теперешние «короли фильма» — де Миль, Ласки и Штрогейм. Он узнает также о многих интересных моментах производства пленки в этом городе чудес американской кинематографии, узнает о том, что казалось ему неясным и непонятным на экране.

Все это, а также увлекательность и разносторонность книги, и позволяют нам считать ее небесполезной для нашего кинолюбителя, позволяют простить автору многие погрешности и замалчивание роли кино, как фактора идеологического господства буржуазии, а подчас и слишком субъективную оценку автором тех или иных явлений в жизни столицы и людей современной американской кинематографии.

Вл. Недоброво.

В СТРАНЕ КИНО

ВОСПОМИНАНИЯ О ЛОС-АНДЖЕЛЕСЕ

I.

ЛОС-АНДЖЕЛЕС ИЛИ КИНО-ГОРЯЧКА.

Мне сказали:

— Вы интервьюировали Вильсона, обедали с угольным королем, видели Бруклинский мост и осмотрели статую Свободы; вы вкусили всего, что есть заманчивого на Востоке. Но Нью-Йорк, Вашингтон и Филадельфия не более, как сколок с Европы. Лишь в Калифорнии сохранился прежний дух янки во всей его чистоте. По ту сторону пустынь Утахи и молчаливых Скалистых гор последние краснокожие и ковбои нашли себе убежище в кино-студиях Лос-Анджелеса.

Как не откликнуться на этот призыв романтического, подлинно национального дальнего Запада? В тот же вечер транс-американский экспресс уносил меня к берегам Тихого океана. Подобно вихрю промчался он мимо Сан-Луи, когда-то бывшего французским городом. Затем промелькнул Канзас-Сити, столица страны маиса, ныне уже соперничающая с Чикаго. Далее оазис среди песков, город Соленого Озера, все еще не очнувшийся от грез мормонской теократии, этап сектантской эмиграции. Еще несколько часов езды, и мы в Денвере, стоящем на страже путей чрез Скалистые горы. Мы минуем их — и перед нами равнина; среди огромных рисовых полей блистает улыбкой Сакраменто; Сан-Франциско открывает свои Золотые Ворота для кораблей Азии. Лос-Анджелес! Все пассажиры выходят. Шесть дней ушло на переезд от одного океана до другого.

На маленькой станции, затерявшейся среди прерий, в тихоокеанский экспресс села одинокая путешественница. Едва водворившись рядом со мной, она тотчас же заговорила с словоохотливостью, характерной для экзальтированных людей.

— Вы, конечно, едете в Лос-Анджелес? — спросила она. — Я тоже. Само собой разумеется, вы хотите стать кино-артистом, точно так же, как и я! Ах, эта «живая живопись»! Вы фотогеничны? Меня уверяют, что у меня есть все данные для успеха. Я хочу составить себе карьеру на поприще кино. Вчера вечером я покинула маленький городок в Иллинойсе, где я была швеей. Но это слишком скромное для меня ремесло. Скоро я буду красоваться на экране, и тогда меня увенчают богатство и слава. Кем была прежде Мэри Пикфорд? Не выше меня. Много месяцев она

выступала простой статисткой. Я не долго засижусь в «экстра», уверяю вас. Я умею плавать, ездить верхом, боксировать, танцевать. Конечно, моя семья против моих планов... Вы знаете, никогда не следует смотреть в объектив; в этом ошибка новичков... У меня есть адреса всех кино-студий. Я буду вашей путеводительницей, если хотите. Какой «тип» вы думаете избрать? Я буду играть роли Назимовой; но я моложе ее, и у меня больше чувства.

Подобного рода апломб произвел должное впечатление на мою наивную и неопытную душу. Возможно ли сомневаться в человеке, который с такой уверенностью говорит о себе? Она знала имена всех директоров, балансы всех компаний. Нет никакого сомнения, что она долгие годы изучала успехи кино по двум десяткам журналов, посвящаемых Америкой немому искусству. С самого детства она каждый вечер садилась перед экраном в своем небольшом городке. Подобно астроному, витающему среди звезд, она жила вместе с Бетти Компсон, Паулиной Фредерик, Тедой Бара. И она с таким чистосердечием возомнила себя их соперницей, что я, в свою очередь, уверовал в нее. Раз я направлялся в Лос-Анджелес, почему бы и мне не попытаться счастья в кино-студиях? Быть-может, судьба столкнула меня с будущей знаменитостью! Я был как нельзя более внимателен к ней. Я мечтал, что с ее помощью смогу получить роль.

Когда, после шестидневного пребывания в поезде, я прибыл в страну кино, мое душевное состояние было подобно настроению искателя золота, высаживающегося в Аляске. Моя спутница остановилась в отеле «Александрия», единственно достойном приютить в своих стенах будущую знаменитость. Что же касается меня, то едва я успел принять ванну в скромном пансионе, где я нашел себе пристанище, как моя соседка по вагону, пышно разряженная, явилась пригласить меня сопровождать ее. Она вооружилась подробным планом Лос-Анджелеса, на котором синими крестами было отмечено местонахождение студий; одни из них были расположены в предместьях, другие же, более отдаленные, у подножия гор или же по направлению к морю. Все они были построены в малодоступных местах, вдали от всяких путей сообщения. Казалось, что все эти святилища кино-искусства стремились возбранить к себе доступ грозной толпе неофитов-любителей.

Электрический трамвай быстро помчал нас к священному предместью. Все вы хорошо знаете Холливуд, так как не раз видели его на экране в американских фильмах: веселые, смеющиеся виллы, увитые глициниями; сады, оживляемые красными пятнами апельсиновых деревьев; широкие улицы, окаймленные гигантскими переносками или эвкалиптами; перекрестки, осененные исполинскими пальмами, и повсюду цветы, зелень, синее небо и птицы. Но вот, за живой изгородью из розовых кустов, снова дает о себе знать

Америка: гигантский стеклянный купол, подобно бриллианту, блистает в солнечных лучах.

— Брэнтон! — говорит мне будущая знаменитость. — Местопребывание независимых компаний. Здесь работают Мэри Пикфорд, Хайякава, Франк Кинан, Дуглас Фэрбенкс. . . Нос у меня не блестит?

Она попудрилась, подмазала себе губы, приподняла пальцем ресницы. У входа в студию красовалась надпись: *Casting director. Please, keep away*, что можно перевести: *Заведующий ангажемен-тами. Вход воспрещается*. В дверях находилось небольшое оконце, сквозь которое можно было просунуть голову. Мимо него тянулась вереница людей всех возрастов, самой разнообразной внешности; среди них были молодые девушки, старики, юноши, пожилые женщины со своими детьми, которых они поднимали на высоту оконца. Изнутри каждую вновь появлявшуюся голову встречало монотонное приветствие: *Nothing doing!*

Моя спутница, получив этот ответ, задрожала от негодования.

— Идемте! Он сумасшедший! — сказала она мне.

Я уже хотел удалиться, как вдруг меня окликнул один из присутствовавших, которому я перед этим почтительно уступил свою очередь из уважения к его сапогам со шпорами и широкополой шляпе.

— Да ведь ты тоже француз!

Я счел уместным подражать этому непринужденному обращению на ты, неизбежному в убежищах для бедных, в ночлежных домах и тюрьмах.

— Вот как, дружище! А я принял тебя за ковбоя.

— Я и играю ковбоев, когда не нужно садиться на лошадь.

— Так, значит, ты пеший наездник?

— Выходит, что так, чурбан!

Человек этот носил давно запущенную эспаньолку; возраста он не имел, и от него пахло виски.

— Вот уже десять лет, как я здесь. Прежде было лучше, но теперь слишком велика конкуренция. Все хотят быть кино-артистами. Я родом из Божолэ. Сорок лет я не пил вина моей родины. Я перепробовал все профессии. Я был камердинером короля! Да, короля Каликао, прозванного Наполеоном Тихого океана, последнего повелителя Гавайских островов. Хорошее то было времячко: танцы островитянок при свете луны! . . . Но явились американцы. Они принудили туземных женщин носить рубашки и отравили Гонолулу дымом заводов. . .

Но в этот момент вмешалась моя спутница; в ее глазах вспыхнул недобрый огонек.

— Как вам не стыдно связываться с подобным бродягой? Следуйте за мной, мы пойдем в *Мэтро!*

Я направился вслед за ней, получив предварительно следующее приглашение от мнимого ковбоя:

— Приходи к пяти часам в Центральный сквер. Я укажу тебе, как взяться за дело!

Мы подошли к студии *Мэтро*. Как и в Брэнтоне, перед нами предстала безжалостная стена, за которой угадывалась лихорадочная работа пчелиного улья. Как и в Брэнтоне, мы увидели невысокую дверь с надписью: *Заведующий ангажементом*. *Вход воспрещается*. Но здесь, к моему великому удивлению, все же входили. Рыжеволосый гигант жестом пригласил нас переступить через порог. Я уселся на кончике стула, и *casting director* заговорил:

— Дорогая лэди, — сказал он, — тысяча любителей ежедневно прибывает сюда со всех концов Америки, и каждый из них надеется стать новым Чарли или второй Мэри! Триста шестьдесят пять тысяч в год! Не теряйте больше ни одного дня! Вернитесь домой! Это мой дружеский вам совет!

Будущая знаменитость побледнела — и побледнела настолько, что *casting director* сжалился над ней;

— Быт-может, вы могли бы попытаться счастья в комедии. Выдержайте себе волосы, переломайте зубы, облекитесь в шутовской наряд. Это единственная надежда.

Я опять оказался на улице, наедине с будущей знаменитостью. В ее глазах снова вспыхнул недобрый огонек, на этот раз еще более опасный:

— Негодяй! Вы подали знак директору! Я видела!

Тропические лучи калифорнийского солнца падают отвесно. Я понял все. Мне вспомнился совет одного врача-психиатра:

— Никогда не нужно противоречить сумасшедшему.

Я отвечал примирительно:

— Вы правы.

Увы! Зонтик ее поднялся и опустился затем на мою голову. Мне оставалось только одно: обратиться в бегство. Я пустился, что есть духу, через поля. Несчастливая умалишенная погналась за мной. Это был первый эпизод, в котором я принял участие, но без сценария, без режиссера, без объектива. Затылок мой ощущал дуновение воздуха, приводимого в движение зонтиком. В конце концов, я значительно опередил женщину, перепрыгнул через канаву, трижды обежал вокруг небольшого леса и потерял умалишенную из виду. Одновременно с этим я заблудился. Долго блуждал я, пока, наконец, не вышел на дорогу и не сел в трамвай, привезший меня в город. Все мое честолюбие улетучилось; я собирался покинуть Лос-Анджелес и с тем же экспрессом возвратиться в Нью-Йорк. Но в тот момент, когда я проходил через Центральный сквер, меня окликнул бывший камердинер Каликао, развалившийся на одной из скамеек:

— Эй ты, чурбан! Я не хотел тебя огорчать сегодня утром, но заведующие ангажементом никогда никого не ангажируют.

— В таком случае, зачем же они постоянно торчат у дверей студий?

— Чтобы отваживать кандидатов, чорт побери! У кино есть свои тайны, но я их тебе открою. Ступай в агентство!

Агентство? Мнимый ковбой произнес это слово почти шопотом, подобно тому, как это делали древние, упоминая об опасных местах.

II.

ТЕДА БАРА ИЛИ ЖЕНЩИНА-ВАМПИР.

Несмотря на красующееся на стене объявление, что каждый статист, уличенный в курении или же плевании на пол, будет немедленно выгнан, «экстра» все же ведут себя не особенно изысканно. Большой зал агентства переполнен пестрой, плохо одетой и дурно воспитанной толпой, от которой разит, как от мокрой собаки. Часть комнаты предназначена для ожидающих «лэди». Присущий янки феминизм награждает этим титулом грязнейшую из замарашек-статисток. Напрасно я пытаюсь найти среди этих последних хоть одну молодую фигуру, хоть одно лицо, в чистых глазах которого можно было бы прочесть:

«Я здесь потому, что меня влечет к себе седьмое искусство, и я верю в него и в себя».

Увы! Кругом меня лишь лица, изможденные нищетой!

— Но если режиссеру понадобятся статисты для сцен из великосветской жизни? . .

— Для этого есть разодетые «экстра», у которых заключено условие с агентом, — отвечал Каликао. — Они не дожидаются здесь. Им звонят по телефону на дом. Если твоя физия понравится «обезьяне» и если у тебя есть нужное барахло, то, быть-может, в один прекрасный день позвонят и тебе. В ожидании же, с чего-нибудь ведь нужно начать!

Я понял и решительно направился в самую гущу зловонной толпы. Время от времени в глубине комнаты отворяется дверь, раздается короткое отрывистое приказание, и счастливый избранник, провожаемый завистью прочих присутствующих, направляется навстречу своим пяти долларам. Я принимаюсь работать локтями и приближаюсь к заветной двери. Мне уже слышен звонок телефона. Мною сделан первый шаг на пути к славе, самый страшный из всех, тот шаг, который ведет новичка в зал агентства, куда осмеливаются проникнуть лишь храбрецы или же умирающие от голода.

— Алло! — произнес чей-то голос по ту сторону перегородки. — Алло! Тип иностранца? Смуглый? Высокого роста? Понимаю. Завтра будет у вас!

Дверь отворяется. Пара глаз устремляется на меня, и одновременно с этим ко мне простирается палец их обладателя.

— Но вы здесь в первый раз? — спрашивает меня агент с выражением того убийственного недоверия, с которым в стране кино

встречают каждого вновь прибывшего. — Есть ли у вас хоть какой-нибудь опыт?

Я не имею ни малейшего представления даже о том, как выглядит объектив, но, посвященный в тайны американского «блэфа», холодно отвечаю:

— Я два года работал во Франции у Патэ.

Мой ответ успокоил агента.

— Ну, хорошо! В студии вам дадут форменную одежду. Завтра в девять часов будьте у Фокса.

На следующий день я проник в студию Фокса в обществе пятидесяти других «экстра» обоюго пола, уже одетых в надлежащие для предстоящего эпизода костюмы. Мужчины были в цилиндрах и черных костюмах; женщины в выходных туалетах. Манеры их были корректны, даже элегантны. Без всякого сомнения, то были статисты, которым «телефонируют на дом». Меня направили к костюмеру. Там меня ожидала форменная одежда, без каких бы то ни было дальнейших объяснений. Я облекся в нее, вопрошая себя, кого я должен изображать в этой плоской фуражке: посыльного из ресторана или же прусского офицера в отставке? В уборной, где я одевался, другие статисты гримировались перед длинным рядом зеркал. Этого я не предусмотрел.

— Не будете ли вы так добры одолжить мне ваши карандаши? — спросил я у своего соседа.

— Вот народ-то! Хочет играть в кино, а у самого нет даже черного карандаша! Возьмите, но это стоит десять центов!

Я протянул ему деньги. Исподтишка я подсматривал, как поступают другие, пытаясь им подражать. Сперва я натер себе кожу кольд-кремом, затем покрыл ее желтым цветом. После этого я подвел глаза. К несчастью я вспомнил о красных пятнах на щеках загримированных артистов и решил несколько оживить свою внешность. Меня удержал от этого мой сосед, давший мне напрокат свои краски:

— Вы с ума сошли, что ли, что красите себе щеки моим карандашом? Красный, это для губ! Разве вы не знаете, что на фотографии красный получается в виде темных впадин! Быть-может, вы собираетесь играть умирающего от чахотки?

Раздался окрик:

— На сцену!

Павильон изображал залу музея. В центре висел большой портрет Теды Бара в костюме танцовщицы-испанки.

Оркестр заиграл веселенький мотивчик, чтобы привести актеров в должное расположение духа. Директор объяснял:

— Мы на выставке картин в Париже. Вот сторож, — прибавил он, указывая на меня. — Сторож, прогуливайтесь!

Я принялся расхаживать взад и вперед, продолжая внимательно прислушиваться к дальнейшим словам директора:

— Вы изображаете посетителей выставки... Проходя мимо портрета танцовщицы, вы будете останавливаться перед ним и изображать свое восхищение: как это прекрасно! Теда Бара входит через дверь справа. Она подходит к картине и вызывает скандал. Сторож вмешивается и выводит ее. Поняли? Свет! Начинаем! Аппарат!

Три аппарата с их нервирующим жужжанием устали на меня в моей прогулке. Я едва решался поднять глаза из страха взглянуть в объектив. Но вот Теда Бара уже жестикулирует перед картиной. Я слышу:

— Сторож, действуйте!

Я направляюсь к портрету и, схватив звезду экрана за руку, тащу ее со сцены, награждая ее при этом пинками полицейского, ведущего в участок преступника.

— Прекрасно! Нет надобности снимать вторично! — раздается голос директора.

«Как это просто!» — думаю я.

Теперь очередь спокойной мимической игры артистки, позирующей в нескольких сантиметрах от объектива. Редкое зрелище!

— Не правда ли, директор, эта поза очень грациозна? — кокетливо пищит Теда Бара.

Она сама собой восторгается, сама себе улыбается, избалованная десятью годами непрерывных успехов, двумя тысячами долларов в неделю, а на ряду с этим также и слабостью режиссеров, бесильных пред мировой знаменитостью. Но внезапно брови ее нахмурились, а вытянутый палец на кого-то указывал, как это делают плохо воспитанные дети.

— Директор! Я не хочу, чтобы эта девчонка была рядом со мной! — приказывает Теда в своем вечном страхе, как бы в фильме с ее участием не появилось чье-нибудь более красивое и более молодое лицо.

Директор понял, и в то время, как миловидная статистка удалялась, к кино-артистке приблизились две невозможные рожи, чтобы своим двойным контрастом оттенить красоту светила.

— Теперь будет великолепно! — произнесла знаменитость, успокоившись.

Этот фильм, при съемке которого я присутствовал, «Демоническая женщина», был одним из последних с участием знаменитой кино-артистки. Вскоре Фокс отказался возобновить с ней ее царственный контракт. Теда была принуждена покинуть экран.

Любопытно было бы знать, как могла знаменитейшая кино-артистка Америки в каких-нибудь несколько месяцев утратить ту популярность, которой она пользовалась в течение десяти лет!.. Несомненно, что система приносить в жертву самомнению артистки интересы сценария и его трактовки в один прекрасный день наскучила публике. Но падение Теды прежде всего лишний раз подтвердило те законы логики, которые составляют правосудие

толпы. Какая-либо безнравственная концепция может процветать лишь в эпоху зарождения искусства или же его дряхлости. Когда Теда Бара впервые выступила на экране, Гриффитс еще только-что изобрел «первый план». Кино-прожектор, вереща, как трещотка, отбрасывал на экран мерцающие, испещренные черными пятнами картины, в которых злополучные артисты без сценария, без режиссера, прыгающими прерывистыми движениями копировали жизнь, руководясь лишь своей собственной фантазией.

Эта грубая примитивная техника должна была породить особую психологию, всю основанную на жестах. Фильм стремился лишь бить по нервам толпы. Возвеличение дон-жуанизма, первоисточника всякой животной грубости, было неизбежной темой этой эпохи. Но феминистически настроенная Америка не могла допустить прославления Дон-Жуана — мужчины. Непопулярный герой был заменен Дон-Жуаном — женщиной. На экранах Нового Света тогда можно было увидеть, как на протяжении бесчисленных мелодраматических эпизодов женщина-вампир мучит, терзает и убивает мужчину, подобно тому, как в кино-театрах Европы роковой красавец терзал, мучил и убивал женщину.

Но женщина-вампир не могла быть долговечной, так как она олицетворяла собой торжество зла. Публика, жизнь, любовь, равно как и здоровая молодость кино-искусства восстали против этой безнравственной концепции.

Женщина-вампир еще долго будет красоваться на американских экранах, но лишь в роли предательницы и злодейки, и, как таковая, к концу драмы она будет наказана победой инженеру или первой любовницы, нежной, великолепной и сострадательной.

Вместе с Тедой Бара женщина-вампир, как героиня, умерла. Пусть она разделит участь своего соперника Дон-Жуана в легенде... и в преисподней.

III.

ВИЛЬЯМ ХАРТ ИЛИ КРАСОТА ДУШИ.

— На прошлой неделе, у Билля Харта, я получил работу прямо при входе в студию: два дня по семи долларов, да впридачу еще десять за то, что я позволил шерифу себя уложить!

При мысли, что он получил работу, обойдясь без посредничества «обезьяны» из агентства, присущий Каликао, как истому романцу, индивидуализм торжествует. Каликао, это — тот старый бродяга-француз, попавший в страну кино, где наряд ковбоя дает ему возможность изображать «пешего всадника» в сценах дальнего Запада. Каликао — грязнуля, забияка, пьяница, но он живописен, и я с легким сердцем следую за ним по дороге в Холливуд.

Солнце, наконец, рассеяло тот утренний туман, который нередко до полудня обволакивает равнины Калифорнии. По пути нам встре-

чаются экипажи, в которых восседают наши более удачливые собраты, приглашенные накануне принять участие в съемках на открытом воздухе на фоне гор или морского пейзажа. Каким-то странным анахронизмом кажутся эти средневековые рыцари или напудренные маркизы, мчащиеся со скоростью 60 километров в час на пылящем, вздымающем пыль автомобиле.

Чтобы достигнуть студии Вильяма Харта, мы проходим у подножия башен Вавилона, великолепных декораций «Нетерпимости». Не взирая на непогоды, высокие сорокаметровые стены все еще целы и невредимы и попрежнему сохранили свою белизну, гордо возвышаясь над окружающей равниной, принижая ее, соперничая с первыми уступами Скалистых гор. Но это напоминание о шедевре Гриффитса ничуть не затронуло Каликао. А ведь он некогда играл здесь в числе шести тысяч других статистов. Изображая вооруженного коротким копьём первобытного воина, в течение недели пребывал он обнаженным до пояса под знойными лучами солнца. Увы, мой спутник с трудом лишь согласился на то, чтобы указать мне место, где помещались кареты скорой помощи, ежеминутно готовые отвезти в больницу жертв несчастного случая, число которых, при штурме этих башен, было рекордным: семьдесят пять пострадавших, из них пять смертельно!

Но Каликао не так-то легко растрогать судьбою других. От этого дня в его памяти сохранились исключительно личные воспоминания: путем обмана ему удалось получить целых четыре коробки консервов, которые выдавала студия на завтрак!

Штаб-квартира Билля Харта расположена в типичном местечке Техаса: единственная улица окаймлена деревянными домами, среди которых бакалейная лавочка, контора шерифа и бар, — тот самый бар, где замышляются все драмы дальнего запада: нападение на дилижанс, похищение любимой женщины, кровавая месть. Далее, на склоне холма, расположено ранчо с его корралем, его табунами диких коней, длиннорогими волами и ветряной мельницей, возвышающейся над водопоем. Не вершине четко выделяется контур деревянных лесов, указывающих местонахождение нефтяного фонтана. Направо от него, по направлению к оврагам Скалистых гор, вьется тропинка, протоптанная лет двадцать назад искателями золота. В этом вся история Южной Калифорнии: золотая горячка, затем нефтяная, а в наши дни кино-горячка.

К моему великому удивлению, заведующий ангажементом, стоящий на страже у ворот студии, приглашает нас войти. Мы на улицах местечка среди статистов, «типов» маленького городка. Выглядывает солнце. Готово! Аппарат! Среди густого облака пыли вылетает орава, во главе с самим Вильямом Хартом: тридцать самых настоящих ковбоев, покинувших своих арizonских быков или невадских овец, чтобы позировать в Лос-Анджелесе — когда есть работа — за десять долларов в день, считая и лошадь. Широкополюе шляпы, сапоги из мягкой кожи, на высоких каблу-

ках которых звенят серебряные шпоры, ослепительно яркие блузы, кожаные нарукавники, тяжелые пояса, за которыми блестят рукоятки револьверов, — вид у них был весьма представительный, и тем не менее мне тотчас же пришлось в них разочароваться.

Когда перестановка аппарата на несколько минут оставила праздною эту ораву, всадники приблизились к пешим статистам.



Вильям Харт.

Среди нас находилась одна хорошенькая девушка и нужно было возбудить ее восхищение. В воздухе просвистало лассо и обвилось вокруг Каликао, наряд которого делает его мишенью насмешек тех, кому он подражает. Я—новое лицо в студии — в свою очередь подвергаюсь испытанию. Внезапно двое ковбоев разряжают свои револьверы в упор в мои ноги. Подобного рода выстрел, хотя бы и холостой, производит такое же впечатление, как удар бичом по ногам, и неминуемо заставляет жертву подпрыгнуть. Не преминул подпрыгнуть и я, и рассмеялся затем — лучшее средство избежать всяких историй.

О, современные ковбои, я мнил вас героями Фенимора Купера! А вы стреляете холостыми патронами в ноги иностранца! Вы всего лишь—пре-

данные спорту сыновья торгашей англо-саксов. Но все же, пусть многое вам простится, так как вы служите рамкой для Билля Харта...

Вильям Харт перед объективом: добрых пятьдесят лет, продолговатое лицо Дон-Кихота, что-то напоминающее лошадиную голову. Но вот его взгляд оживился. Луч света озарил мрак сценария. Лицо его сохраняло это выражение не более пяти секунд. Но этого достаточно. Аппарат запечатлел его красоту.

Красоту? Для негритянки Центральной Африки красота, это — толстые губы, улыбка которых обнажает остроконечные зубы. Для тунисского еврея, это — пятипудовая невеста, разжиревшая на турецких лакомствах. Для спортсмена, это — мускулы. Для Платона, это — юноша сомнительной репутации. Для хорошенькой женщины, красота, это — она сама. Для толпы, аплодирующей Вильяму Харту, красота, это — страдание. Взгляните, как он пре-

красен в гисках своего почти фанатического пессимизма. Он прекрасен той внутренней красотой, которую скульпторы-мистики наделяют высеченных из камня святых, после того как эстетика христианства стерла с лица человека печать зверя и скрыла под суровыми складками монашеских одеяний искушения античной пластики. Вильям Харт, это — милосердие, рыцарственность, прощение, помощь сиротам и вдовам. Он друг бедных. Его минуты падения лишь еще более оттеняют блеск воскресения. Он своего рода апостол. Его творчество совершенно.

Радость может породить только радость. Лишь в страдании выковывается прогресс человека. Ты плачешь? — значит, ты подвигаешься вперед. Ты достигаешь высоты справедливости. Этого мало. Есть нечто высшее: ступень сострадания. Еще мучительное усилие, и ты возвысишься до самопожертвования. Все это заключено во взгляде Вильяма Харта. Он прекрасен, потому что он есть действительное страдание. Разумеется, на пленке находят себе место все виды красоты: доверчивая улыбка инженю, торжествующий взгляд первого любовника, ухищрения кокетки и даже экзотизм готтентотской Венеры... Но помните вы, молодые девушки, гримасничающие перед зеркалом, мучительно задавая себе вопрос, фотогеничны ли вы: лучшая роль в фильме, точно так же, как и в жизни, нередко выпадает на долю пролившему не мало слез безобразию!

Конец дня в живописных рамках дальнего Запада. На склоне холма большое огороженное пространство. С трех сторон оно окружено солидной железной решеткой. В глубине его замыкает большой отвесный утес. При входе в загородку клетка, а в клетке — пума. Пума, это — лев Америки. Правда, у него нет гривы его африканского собрата. Кроме того, как нас уверяют, он труслив. Я от всей души готов поверить директору, заканчивающему свою речь словами:

— Вот сущность предстоящего эпизода. На земле лежит мертвый. Клетку открывают. Пума выходит, обнюхивает актера и удаляется. Бояться нечего. Хищник уже стар. К тому же он уже позавтракал.

Странная гарантия! Разве аппетит не приходит во время еды?

— Кто хочет быть трупом?

Молчание среди наших статистов; молчание среди ковбоев.

— Десять долларов! Нет охотников? У вас у всех душа в пятки ушла? Ну вы, француз! Подайте пример! Пятнадцать долларов!

Сыны прерии пересмеиваются за моей спиной. Тогда я говорю:

— Хорошо, я иду.

Я вхожу в загородку, ложусь. Готово! Аппарат! Клетку открывают. Я слышу жужжание аппарата, установленного снаружи. Моего лица коснулось чье-то горячее и зловонное дыхание, и я чувствую, как тень хищника удаляется. Все кончено. Я собираюсь встать. Но чей-то голос кричит:

— Не двигайтесь! Съемка продолжается!

Проклятая пума вернулась ко мне. На этот раз до меня дотронулась морда зверя, и его горячий язык внезапно лизнул мне лицо. Один раз, другой! Моя косметика, надо думать, пришлась по вкусу хищнику. Я слышу:

— Фотограф! Продолжайте съемку. Чудесный эпизод для комедии!

Пума лизнула меня в третий и последний раз и затем снова удалилась. Одним прыжком я вскочил и выскользнул за ограду. Ковбои Вильяма Харта больше не будут в знак презрения стрелять мне в ноги холостыми патронами.

IV.

ПИКФОРД-ФЭРБЕНКС ИЛИ ОПТИМИЗМ.

Объездите всю Северную Америку от Нью-Йорка до Сан-Франциско и от Чикаго до Нового Орлеана и спросите в любом месте, в любой час, кого бы то ни было, как он поживает, и вы услышите один и тот же неизменный ответ: *Fine and dandy!*

Выражение это совершенно непереводаемо; оно означает, что дела нации, здоровье вашего собеседника, его материальное и душевное состояние, его бывшая жена, с которой он развелся накануне, его невеста, на которой он женится завтра, политика Белого Дома, сделки на Уолл-Стрите — все обстоит, как нельзя лучше! Все вдовцы собираются жениться вторично, все банкроты вновь открыть торговлю, все бывшие каторжники реабилитировать себя. Даже осужденный наукой или правосудием, даже на своем смертном одре или на электрическом стуле, американец все еще будет приветствовать вас словами, исполненными самого глубокого оптимизма: *Fine and dandy!*

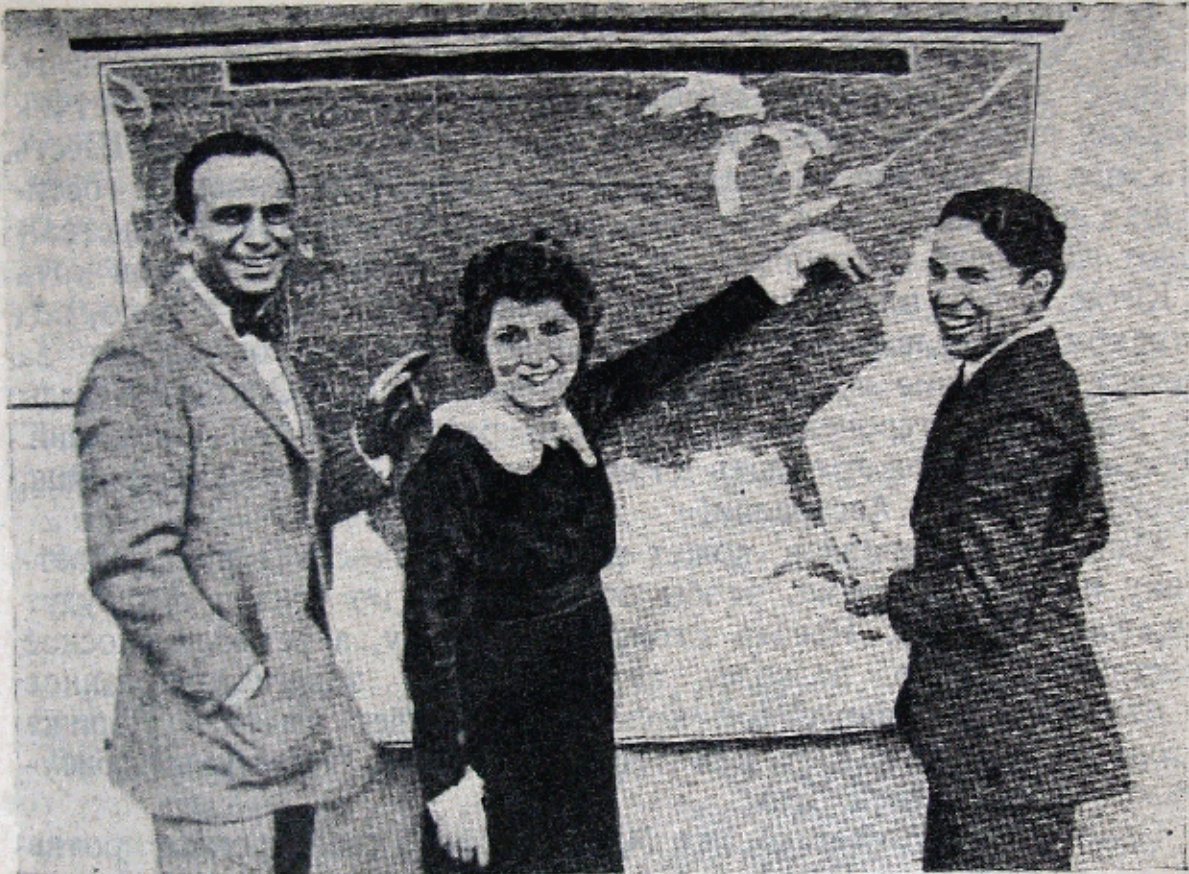
Лжет ли вам этот народ? Вернее, он лжет самому себе. Мираж этот неотделим от жизни Нового Света, являясь ее неотъемлемым стимулом. Без него были бы невыносимы все тяготы существования, бесчисленные опасности, головокружительные успехи, катастрофические падения и постоянная неуверенность в завтрашнем дне, характеризующие жизнь Америки. И «блэф» есть не что иное, как проявление оптимизма янки, а улыбка Пикфорд-Фэрбенкса может служить его символом.

Не одной лишь физической ловкости обязан Дуглас Фэрбенкс своим богатством. Не одной только фотогеничностью Мэри Пикфорд стяжала себе свою славу. Их улыбка возвеличила их. И притом, какая улыбка! В ту эпоху Дуглас Фэрбенкс разводился, чтобы жениться на Мэри Пикфорд, а Мэри Пикфорд разводилась, чтобы выйти замуж за Дугласа Фэрбенкса. Может ли быть какое-либо более яркое проявление оптимизма?

— Двойной развод в Америке, — скажете вы: — нашли, чем удивить!

Но это не так-то легко, гораздо труднее, чем в Европе... если только вы не склонны пять дней и пять ночей нестись сквозь пустыни и прерии к вечным снегам, венчающим горы штата Невада. Рено! Запомните имя этой миниатюрной столицы, затерянной в Скалистых горах. Там родилось самое свободное из существующих законодательств о браке. Занесите Рено в свою записную книжку; никогда нельзя поручиться за будущее!

Кто может определить то влияние, которое оказывает окружающая природа на дух законов? Как могло случиться, что горсточка



Дуглас Фэрбенкс, Мэри Пикфорд и Шарло.

пионеров — рудокопов, охотников и пастухов с высоты своих скал бросила единственный в своем роде вызов дряхлому римскому и каноническому праву, кодексу Наполеона, всем когда-либо существовавшим и существующим установлениям! В Рено брачный контракт может быть разорван по капризу одной из сторон. Правда, супруг, приносящий жалобу, должен чем-либо ее мотивировать, но этот повод может быть так ничтожен!.. Стоит жене предстать перед судьей со следующим обвинением:

— Мой муж отказался купить мне гоночный автомобиль!
или мужу:

— Моя жена храпит во сне!

и ничего большего не требуется; в Неваде этого достаточно, чтобы вновь обрести свою свободу.

Но смелость законодателей Рено поражает еще более в установленных ими процессуальных формах. Ничто не останавливает этих щедрых разводителей: ни национальность тяжущихся, ни отсутствие ответчика. Им нет дела до общественного положения супругов; их не касается, заключен ли брак по расчету, как обычно бывает среди представителей буржуазии, или же по любви, как это свойственно беднякам, или же, наконец, из соображений светских приличий, как это распространено среди аристократов! Рено провозглашает себя компетентным расторгнуть брак араба, совершенный путем покупки, брак кавказца, осуществленный путем похищения, брак французки, заключенный ради ее приданого. Что же касается до того, где должно слушаться дело, то вопрос этот разрешен самым неожиданным образом: ответчик должен предстать перед судом по месту жительства истца. Шесть месяцев пребывания в Неваде (надо же дать возможность и гостиницам воспользоваться благами столь смелого законодательства!) дают вам право потребовать от вашего супруга, находишь он хоть в Китае, чтобы он в течение шестидесяти дней явился в Рено, под страхом подлежащего обжалованию заочного осуждения за неявку в течение последующих четырех недель. Законы Невады не знают ни отсрочек по дальности расстояния, ни апелляций. Французка может подать в Рено жалобу на своего мужа-сиамца, проживающего в Австралии!

Один лишь аэроплан может дать возможность супругу-ответчику поспеть во-время, чтобы оправдаться; но усилия его будут тщетны, так как Невада стоит за свободу, а ее молниеносное постановление о разводе, автоматически зарегистрированное в ближайшем французском консульстве, будет иметь в Париже столь же законную силу, как и приговор, чинно вынесенный трибуналом департамента Сены.

Само собой разумеется, что Мэри Пикфорд свой процесс против мужа возбудила в Неваде. Само собой разумеется, что Дуглас Фэрбенкс возбудил свой процесс против жены в Неваде. Мистер Пикфорд (в натуре Оуэн Мур) энергично цеплялся за свою подругу, которая «стоит» несколько миллионов долларов в год. Миссис Фэрбенкс, со своей стороны, отказывалась расстаться с супругом, заработок которого заставляет краснеть последних монархов за скромность их гражданского листа.

Я встретился с этими двумя светилами, долженствовавшими вскоре составить самую богатую чету на свете, как раз накануне решения суда в Рено. Если деньги еще не вызывают улыбки, то, по меньшей мере, они иногда способствуют ее появлению. Мэри и Дуглас улыбались на перекрестке своих жизненных путей, заранее неспособные сыграть ни в жизни, ни в фильме двойного развода, который не сопровождался бы немедленно двойным браком. Они улыбались и, казалось, хотели служить иллюстрацией к словам Шопенгауера, что любовь — не что иное, как

инстинкт воспроизведения, стремящийся путем сочетания физически и нравственно противоположных индивидуумов способствовать сохранению среднего типа как в области морали, так и в отношении роста и окраски. Насколько высок Дуглас, настолько же миниатюрна Мэри. Физическая сила первого как бы создана для защиты слабости последней. Он смугл, она же бела и белокура. Он резок и порывист, она же кротка и нежна. Он смел, она робка. Они — две крайности, сходящиеся в присутствии обоим оптимизме.

О, счастливые концы американских сценариев! В развязке «Трех мушкетеров» Дугласа Фэрбенкса все четыре героя, живые и невредимые, встречаются во дворце Ришелье, умиленного Ришелье-христианина, осыпающего золотом и милостями своих смертельных врагов. Я думаю даже, что в студии оптимиста возникал вопрос, не женить ли Артаньяна на мадам Бонасье, сочетав троих остальных гасконцев с фрейлинами королевы. Что за важность, если на экране будет нарушена верность истории или легенды, — лишь бы зритель до конца сохранил свою улыбку!

Но в Америке оптимизм — удел не только тех, кто выигрывает: ему неизменно верны и неудачники. Через неделю после двойного постановления суда в Рено миссис Фэрбенкс вновь вышла замуж за миллионера из Чикаго, тогда как Оуэн Мур, бывший супруг Мэри Пикфорд, достиг пределов оптимизма, сценаризировав и засняв свои собственные супружеские неудачи!

V.

ЧАРЛИ ЧАПЛИН ИЛИ ТРАГЕДИЯ КОМИКА.

Мне довелось встретиться в жизни с тем самым типом, который вот уже пятнадцать лет, как стал бессмертным, благодаря Чарли Чаплину. Он был моим единственным другом. Начиная со школьной скамьи, он потешал товарищей своими проделками, за которые неизменно бывал наказан. Был ли то сверточек с чернилами, шарик из жеваной бумаги, майский жук с привязанной к лапке ниточкой — неизменно виновником оказывался он. Провалившись пять раз на экзамене на степень бакалавра, он получил, наконец, место редактора юмористического журнала. На следующий же день по вступлении в должность он был арестован за напечатание нецензурной статьи, которой он не читал, но за которую, по закону, он должен был отвечать. Неудачливость его была прямо невероятна и вызывала веселый смех. Грипп, желтуха, инфлюэнца постоянно навещали его. Отправленный в больницу с растяжением связок, он по ошибке попал на операционный стол, где ему была вскрыта брюшная полость. Он облысел после того, как известный парикмахер вымыл ему голову средством для рощений волос. Отважившись усесться в кресло дантиста, он увидел, как тот, внезапно лишившись рассудка, вырвал ему четыре совершенно

здоровых передних зуба и преследовал его вплоть до улицы, потрясая окровавленными щипцами.

Он никогда не смеялся, но его вид всегда возбуждал смех у других. Лицо его было сморщено, движения порывисты, походка деревянна. Когда он плакал, то становился еще более смешон. В некоторых случаях он вел себя более чем порядочно: защищал слабого, уважал жену друга, платил долги чести. Это было ему же во вред. Он прослыл за простака, и над ним еще более потешались. Но он достиг самого высокого комизма, когда, обокраденный карманным воришкой, он был арестован вместо вора, отведен в суд и осужден. И применению закона Беранже¹ он был обязан лишь тому, что рассмешил своих судей, сказавших ему:

— Ступайте, но не принимайтесь больше за свои проделки!

Как мог он не приниматься за них? Он женился, жена была его, и он должен был делать вид, что доволен. Через несколько месяцев после гастролей марокканского цирка, он стал отцом черномазого ребенка. Я видел, как он гулял с маленьким арапчонком. Весь город хохотал.

Наступила война. Судьба пожелала, чтобы комик оказался в первых рядах великой трагедии. При Шарлеруа, на Марне, в Суассоне, под Верденом он потешал всех в самом пылу сражения. Он потешал свое отделение, свой батальон, майора, весь полк, генерала. Даже смерть припасла для него комическую развязку. Взрывом снаряда его труп, целый и невредимый, был заброшен на вершину дерева, где, зацепившись в совершенно невероятной комической позе, он, казалось, все еще продолжал кривляться на потеху другим. Пока его рота занимала этот окоп, над ним не особенно смеялись, так как он был молодчина, и его знали при жизни; но когда явилась смена, вновь прибывшие стали потешаться от всего сердца. Он был Жюло, Гюгюссом, призраком отца Дюпанлу, героя непристойных площадных песен. Он высох, превратился в мумию. От этого он стал лишь еще потешнее. Однажды в зимнее утро, когда он весь побелел от снега, его прозвали Футитом, по имени знаменитого клоуна. Неприятельская артиллерия, казалось, щадила его, чтобы он и мертвым мог потешать других. Его сняли с дерева лишь в день перемирия.

Никогда я не был грустнее, чем в тот момент, когда я проник в студию Чарли Чаплина. Я должен был играть там крошечную роль вместе с одним из статистов, который сказал мне:

— Меня прозвали «Помпоном», так как я поминутно говорю «помпон». . . Надо же быть в чем-либо оригинальным, если хочешь иметь успех. . . помпон. . . Когда я произношу «помпон», мои челюсти автоматически разжимаются и выбрасывают вперед мою козлиную бородку. . . помпон. . . Видели ли вы когда-нибудь что-

¹ Рене Беранже — известный французский политический деятель; его именем назван закон об условном наказании.

либо более забавное? Мы с вами разыграем такую сценку, которая рассмешит и мертвого!..

Директор объясняет нам:

— Вы два юриста, два нотариуса, явившиеся объявить Чарли о том, что он получает наследство. Вы подъезжаете в коляске, стоящей вон там, за углом. Перед дверью экипаж останавливается. Вот этот человек, — директор указывает на третьего актера, — лакей. Он вас встречает. Вы, как можно естественнее, выходите из экипажа и идете по направлению к Чаплину, который стоит там, на пороге. Вот и все. Ступайте и не выходите из поля объектива.

Эпизод этот как нельзя более прост, но Помпону приходит в голову мысль его разукрасить:

— Вот, быть-может, случай, единственный в нашей жизни... помпон... Вы думаете, что мы просто выйдем из экипажа?... Как бы не так!.. Мы нахлобучим наши котелки один за другим на голову удивленного лакея... помпон... А затем я выну изо рта свою трубку, чтобы всунуть ее в его и без того уже широко раскрытый от изумления рот...

Все произошло так, как мы решили...

— Фотограф смеется! Успех! — шепчет мне Помпон в то время, как мы направляемся к Чарли, ожидающему нас у порога с тросточкой в руках и своими бессмертными башмаками на ногах. Мы кланяемся. Эпизод окончен.

— Стой! — кричит режиссер.

Мы ожидаем поздравлений, но в этот момент раздается голос директора:

— Скажите, эй, вы там, два нотариуса, вы с ума, что ли, сошли? Мания величия, а? Я сказал вам: «Выйдите из экипажа как можно естественнее!» Возьмите вашу трубку, вы, козлобородый, и не суйте ее в чужие рты, а не то еще заразите их чем-нибудь. Ступайте, начните с начала! И поживее! Нам нельзя терять времени!

Мы вновь воспроизводим эту сцену, отказавшись от какой бы то ни было фантазии, но с сердцем, исполненным горечи. Вечером, возвращаясь в Лос-Анджелес, Помпон говорил мне:

— Повсюду одно и то же... помпон... у Дюдоля, у Фатти, у Чарли, — экран существует лишь для светила... А между тем моя борода... помпон... посмешнее усов Чаплина... помпон... Они это знают и хотят задушить мой талант... помпон... Ну, да от этого «великому комику» не поздоровилось... помпон... Хотел бы я, чтобы с ним каждую неделю случалась такая же грязная история, как с его женитьбой...

Вот эта грязная история:

Жил был «великий комик»; он был холост и очень богат. Жила была «маленькая статистка»; она была очень бедна, но мать ее честолюбива.

— Моя дочь выйдет замуж за великого комика! — говорила она. Но доступ к великому комику был очень труден, потому что он никому не доверял. Он жил один и был недосягаем. Но мать маленькой статистки обладала матримониальным гением. В одно прекрасное утро «великий комик», никогда не пивший, проснулся в одном из отелей Холливуда с ужасной головной болью. К своему ужасу он замечает, что он не один на кровати. Тщетно он пытается вспомнить все происшедшее; в этот момент появляется мать в сопровождении двух полицейских и объявляет ему, что он должен как можно скорее жениться на маленькой статистке. Одно мгновение великий комик пробует сопротивляться, но даже его адвокаты не советуют ему затевать процесс, который может повредить его популярности. (Толпа янки не шутит с подобными «грязными историями» богача, хотя бы он и был жертвой шантажа!) Великий комик женился. Тотчас же маленькая статистка стала светилом. Кроме того, она развелась, так как спустя несколько месяцев ее мать обвинила своего зятя в том, что он... бьет свою жену и морит ее голодом (sic!). Великий комик был слишком огорчен, чтобы защищаться. Он уплатил несколько миллионов на ее содержание. Помпон усматривал в этом руку небесного правосудия.

Бедный Помпон! Его кинематографическая карьера внезапно оборвалась самым трагическим образом. На следующий же день после нашей работы у Чарли, Помпон, изображая революционера, упал на заржавленный нож своего врага. Началась гангрена. Пришлось отрезать бедняге ногу. Я видел его после этого. Он не вставлял более своего «помпон», и по его бородке, отныне неподвижной, катились крупные слезы. Он потерял всякую надежду на то, что будет смешить других.

О, Фигаро, не есть ли комедия просто нагромождение трагических эпизодов вокруг одной и той же жертвы? Поспешим же посмеяться перед фильмом или в жизни, из боязни, как бы нам не пришлось заплакать!

VI.

СВЕТ И ТЕНИ ЖИЗНИ КИНО-АРТИСТА.

Вокруг Лос-Анджелеса, ныне города с миллионным населением, разбросано около шестидесяти студий. В «Универсаль-Сити», кино-мастерские которого образуют целый городок, с банком, рестораном, почтово-телеграфной конторой и магазинами, мне приходилось видеть, как съемку производят одновременно двадцать различных компаний, для чего требуется штат из 20 директоров, 40 кинооператоров, 100 электротехников, 300 плотников и 600 актеров (не считая статистов).

Но, кроме ателье, у «Универсаль-Сити» есть еще ресурсы для «натурных» съемок. Городок Европы предлагает взору объектива

свою живописную романскую церковь, фонтан, извилистые улицы. Пожелает режиссер Восток? Вот он, с его мавританскими домами, минаретами и внутренними дворами, где мелодично журчат прохладные струи. У студии есть также оранжереи, в которых режиссер позаимствует гранатовые деревья для садов Испании; кактусы для уголка Ривьеры, лианы для тропинок девственного леса, причудливые цветы для цветников Индии или Китая. В зверинце студии содержатся: три слона, носящие на себе раджу и его свиту в сценах охоты или же фигурирующие в драмах из жизни цирка; десять верблюдов, которые на границе близ лежащей калифорнийской пустыни изобразят собой караван; двенадцать крупных хищников, с помощью которых можно инсценировать джунгли; свора эскимосских собак, в любую минуту готовых везти узкие канадские сани по вечным снегам Скалистых гор, отстоящим не более как в трех часах пути. К этому надо прибавить ученых обезьян, отказывающихся говорить только потому, что человеческий язык лишь замаскировал бы те чистосердечные мысли, которые они так мастерски изображают.

И какой выбор статистов! Аризона с ее чистокровными индейцами в двух шагах. Вам нужны мексиканцы? Тысячи их ежегодно переходят границу. В Лос-Анджелесе есть японский квартал, а окрестные поля обрабатываются китайцами. Италия под боком: в лавочке цырюльника или сапожника, в лице чистильщика сапог. В соседнем кабачке игроки в кости олицетворяют собой Испанию гидальго и конквистадоров. Мелочные торговцы — арабы, сирийцы и евреи образуют самые подлинные семитические группы. Вам нужен русский колорит? Наймите на денек русских эмигрантов, собирающих абрикосы и апельсины в садах Пасадены. Хотите вы Африки, — она перед вами в лице негров-джентльменов, которым ничего не стоит вновь обратиться в дикарей и продемонстрировать перед вашим кино-оператором священные танцы своих предков. В Лос-Анджелесе Восток подает руку Западу, черная раса скрещивается с красной, и все века столпились среди ландшафтов всех земель, бок-о-бок со всеми нужными аксессуарами.

Могут ли эти студии, где директор для постановки каждого фильма располагает суммами от ста тысяч до миллиона долларов, выпускать что-либо иное, кроме шедевров? И все же продукция их нередко более, чем посредственна! Вина ли это исполнителей? Разумеется, нет! Американские кино-артисты хороши, превосходны! От самого скромного из них можно требовать такого разнообразия мимики, какое не всегда найдешь у знаменитостей Европы. С первого же дня американский режиссер понял, что лучший актер на сцене может быть отвратительнейшим кино-актером. Искусству театрального артиста можно выучиться, но кино-актером надо родиться. Ежегодно кино-фабрики Нового Света вербуют своих первых артистов, нисколько не считаясь

с тем, имели ли они перед этим какой-либо успех на сцене. Скоро один лишь путь кино-актера поведет артиста к славе светила экрана. А кино-операторы? Они почти само совершенство, и заметим, все без исключения по происхождению романды. Тогда чем же объяснить недостатки американских фильмов? Бездарностью сценаристов и режиссеров. Первые все еще не усвоили себе, что для создания хорошего сценария требуется не меньше ума, чем для того, чтобы написать хороший роман или стоящую пьесу. Что же касается до режиссеров, то Америка, страна узкой специализации, лишь в редких случаях порождает этих людей, которые наряду с точностью механика, расчетливостью экономиста и дарованием художника должны обладать еще широкой умственной культурой, необходимой для подлинного кино-режиссера.

Читая американские журналы, кто не мечтал отправиться в Калифорнию на золотые россыпи кино? Так головокружительна карьера этих кино-светил, еще накануне мывших посуду в ресторане, как Фатти, или же писавших под диктовку, как Мэри Пикфорд, а на другое утро просыпавшихся в стране кино с миллионными, а то и большими окладами! А карьера этих директоров, которым платят по 20 000 франков в неделю лишь за то, что они кричат в рупор! А этих фотографов, получающих по 200 долларов в неделю лишь за то, что они вертят «кофейную мельницу»!

Но сосчитали ли вы, сколько в Лос-Анджелесе режиссеров, которые могут рассчитывать на работу в течение целого года? Не больше двадцати! А сколько кино-операторов, прочно стоящих на ногах и гарантированных от безработицы? Быть-может, десять! Правда, светила, знаменитые кино-светила, круглым счетом человек шестьдесят, получают по контракту сроком на пять лет и более вознаграждение не меньше 1 000 долларов в неделю в течение круглого года. Но за спиной этих шестидесяти счастливых различаете ли вы необеспеченную толпу прочих артистов и актеров, нанимаемых по понедельно, и статистов, работающих поденно? Да, нелегка там карьера кино-артиста, — как для актера, так и для режиссера и для фотографа! Поездки по раскаленным дорогам калифорнийской пустыни! *Nothing doing* заведующих ангажементом! Надежда и отчаяние! Страничка интимной жизни лучше всего осветит вершины и бездны существования в стране кино... Человеку простительно поведать о своем счастье, когда в конце концов, оно обратилось в несчастье... Читатель меня извинит.

Она родилась в Новом Орлеане и по происхождению была французенка. Вопреки американскому феминизму, она сохранила свою романскую женственность. Ее двоюродные сестры-янки — независимы, надменны, практичны, безжалостны и героичны, как сама жизнь Нового Света. Она была прямой противоположностью им, и ей достаточно было подумать о самой себе, чтоб тотчас же, без малейшего усилия, представить взору объектива изображение

трогательнейших переживаний человеческой души. Три года она мужественно боролась в стране кино, но ни разу ей не удалось получить какую-либо значительную роль. «Закон типа» предназначил ей быть субреткой, а директора поручали ей только роли «бонны». Хорошо, если бы эти скромные роли позволяли ей хоть наесться досыта! Но они давали ей возможность работать не более, чем неделю в триместр. На сто долларов прожить три месяца! Ее нищета была вопиюща! В Луизиане она была стенографисткой; эта профессия обеспечивала ей постоянный заработок и давала возможность жить по-человечески. Она могла бы вернуться к своему прежнему занятию; но жертвы, уже принесенные ею с целью выступить на экране, были так велики, что у нее не хватало сил отказаться от своих первоначальных надежд. Она могла бы работать в качестве «экстра» (статист, имеющий работу, более достоин зависти, чем безработный актер), но в стране кино, кто бы ни добился хоть раз ангажемента в качестве актера, работающего по неделе, тот, охраняя свое профессиональное достоинство, уже вынужден не выступать впредь в качестве статиста-поденщика; в противном случае ему грозит непоправимое падение. Она



Манон.

была моим другом, и ее положение побудило меня однажды произнести следующие несправедливые слова:

— Из-за того, что вам пришлось работать в качестве актрисы, вы не хотите выступать статисткой. Лучше быть «экстра» и зарабатывать двадцать долларов в неделю, чем умирать с голода в ожидании роли. Почему вы не вернетесь к своей пишущей машинке?

— Быть может, вы правы, — ответила она. — Но я хочу еще раз попытаться достичь невозможного. Вы сочинили сценарий. Дайте его мне. Я снесу его одному известному режиссеру.

На другой день вечером, когда она вернулась от известного режиссера, на ее лице было новое для меня выражение.

— Мой сценарий, конечно, не принят, — сказал я.

— Да, но режиссер сделал мне предложение. . .

— Понимаю. И какова цена этой гнусной сделки?

— Он сделает меня знаменитостью.

Я знал репутацию этого режиссера. Он был одним из тех редких мужчин, которые не обманывают женщин. Я питал к ней глубокую нежность. Но я был бедняком, у которого богач отнимает его подругу, как в пещерную эпоху сильный самец вырывает самку у слабого. Я сказал ей:

— Не надо колебаться. Соглашайтесь. Я ухожу.

Она родилась в Новом Орлеане, в том старом доме, где де-Гриэ в последний раз сжал в своих объятиях Манон в конечном эпизоде романа, действие которого происходит в Луизиане. В течение минуты мы жили с этими двумя мертвецами. Мы упали в объятия друг друга. В сантиментальности восемнадцатого века смешались слезы, омывавшие наши лица. Произошло душераздирающее прощание, так как мы знали, что закон кино-каст никогда не позволит безвестному статисту приблизиться к сияющей звезде.

Три месяца спустя она была знаменита, богата, стала обладательницей мировой славы. Вы ее знаете, вы ее видели во всем ее блеске на экране. Ее зовут... Но до конца этого анонимного повествования мы будем называть ее Манон.

VII.

КАЛИКАО.

В этот день я работал вместе с Каликао. Солнце капризничало. У нас были часы досуга. Мой друг, старый бродяга, был болтлив. Он рассказал мне:

— Ты, чурбан, приехал в Лос-Анджелес на поезде. Я высадился здесь с парохода. Давненько это было, лет двадцать, пожалуй. Ты не бывал в Аргентине? Хороша страна, недурная столица и отличные богоугодные заведения!

«Если счастье состоит в уверенности, что не может быть ничего худшего, то я испытал это счастье в ночлежном доме на улице Виамонте. Там, на границе предместий, в типичном колониальном строении с тенистым внутренним двором, плоской крышей, кирпичными полами, оштукатуренными стенами — милосердная французская колония Буэнос-Айреса содержала две дюжины коек. Достаточно было позвонить в сумерках у дверей убежища для бедных и попросить приюта на французском, баскском или гасконском языках, чтобы тотчас же получить в пользование настоящую постель с матрацом, одеялом и подушкой. Помимо этого блаженства можно было воспользоваться маленькой прачешной и выстирать в ней с мылом единственную рубашку, которая к утру оказывалась уже сухой и чистой.

«В убежище на Виамонте давали также щи с перцем. Чрезмерное изобилие аргентинского перца заменяло в них отсутствова-

вший мясной навар и в течение всего дня возбуждало в наших подведенных животах ужасную жажду, которую мы пытались утолить у фонтанов на площадях. Там было порядочно чурбанов, на Виамонте. Устав убежища ежедневно посылал их на заре в город, и считалось, что они ищут там работу. Я никогда не замечал, чтобы кому-нибудь из нас особенно хотелось ее найти; диета убежища едва давала нам достаточно сил для той работы, которая заключалась в том, чтобы усесться на набережной Бокка или же растянуться на скамейке в Палермском лесу.

«Однажды осенью... не помню хорошенько в котором году... среди чурбанов на улице Виамонте был Апостол; по бесконечной доброте своей он сберегал крошки от своего куска хлеба для воробышков, и я видел, как его до невозможности стоптанные сапоги не раз совершали зигзаги, чтобы не раздавить какое-нибудь насекомое. Там был также Маркиз; самый настоящий, — настолько, что он считал себя слишком поздно появившимся на свет, чтобы укоренить привычку работать в своем роду, в течение пяти веков ничего не делавшем. Был там Арби, ученый, сын богатых буржуа; но двадцать лет каторги привили ему довольно прогрессивные убеждения; впрочем, их можно было бы получить и за меньшую цену. Там был адвокат, добровольно покинувший общество служителей справедливости — палачей. Был там также Поднос, бывший гарсон в Кафе де ла Пэ, который внезапно почувствовал вкус к приключениям и расстался со своим передником ради скитаний от Скалистых гор до Андов и от Трансвааля до Полинезии.

«Вокруг этих типичных бродяг-добровольцев группировались прочие отбросы общества, элементы случайные и менее интересные: бывшие обитатели тюрьмы, дезертиры из армии и флота, пьяницы, игроки и прочие жертвы своих пороков. Обычно, в течение трех месяцев клиентура убежища все время была одна и та же. Три месяца пребывания все в той же обстановке, это максимум оседлой жизни, которого можно требовать от истого бродяги. Каждый из нас уже слышал призыв снова тронуться в путь, призыв, противостоять которому невозможно. Но куда направиться? Аргентина — это тупик. Все мы побывали уже на Амазонке и в Патагонии, в Парагвае и в Венецуэле. Для нахлебников улицы Виамонте Южная Америка не представляла более никакого интереса. Нам нужно было переменить материк или, по крайней мере, полушарие. И вот, однажды вечером, когда мы уплетали суп с перцем, Поднос возвестил нам:

« — Эй вы, пентюхи! Разиньте уши! В ближайшую субботу прямо в Сан-Франциско, через Магелланов пролив, уходит американский пароход!

«Ложки наши застыли в воздухе. Какова бы ни была эта новость для обычных путешественников, для нас она представляла исключительный интерес. Маркиз резюмировал его:

« — Другими словами, спрятавшись на нем, можно прямехонько явиться к янки, вместо того, чтобы быть высаженным в Монтевидео или Рио-де-Жанейро, как это бывает обычно.

«Дело в том, что на памяти стоу-эуэев (так зовут англо-саксы этих бесплатных и нежелательных пассажиров) не было ни одного случая, чтобы какой-нибудь чурбан мог забраться на корабль и не быть прерванным в своем бесплатном путешествии преждевременной высадкой в Уругвае или Бразилии. Но на этот раз, по особой милости божией и на руку бродягам, отпадали все промежуточные этапы между Ла-Платой и Соединенными Штатами. . .

«Адвокат сказал:

« — Здесь скоро наступит зима с ее холодными ночами.

«Апостол прибавил:

« — В Калифорнии же, напротив, теперь весна и зреют абрикосы!

«Каждый из нас готов был поделиться своими мечтами о путешествии, когда Арби сухим тоном возвратил всех к действительности:

« — Нечего набивать себе головы всякими бреднями, лоботрясы! К моменту отплытия все входы будут охраняться! И тот, кто говорит о посадке, не более как пустомеля!

«В этот вечер мы замолчали. Но на другой день «пустомельство» снова закралось в наши застольные речи.

« — Это шикарная штука, Северная Америка, — вздохнул адвокат. — Говорят, что Чикаго гордится прямо умопомрачительной ночлежкой!

«Маркиз издевался:

« — Вы знаете, пентюхи, в Калифорнии встречаются самородки! Можно, ведь разбогатеть! . .

«Но Поднос прямо схватил быка за рога:

« — Да я, братцы, разыскал эту посудину. Это «Вашингтон», пять тысяч тонн. Он ошвартовался во втором бассейне.

«Я тоже ходил смотреть корабль, но ничего об этом не сказал. И у меня осталось впечатление, что каждый из двадцати пяти пансионеров не хуже меня знал место стоянки парохода и час его отплытия, и цвет его корпуса, и число его сходен. Но казалось, что вся ночлежка изо всех сил старается проявить свое полное равнодушие к завтрашнему отплытию, и едва Арби пригрозил титулом болвана каждому, кто мечтает стать пассажиром «Вашингтона», как тотчас же со всех сторон раздались голоса, советовавшие заранее отказаться от всякой попытки сесть потихоньку на ниспосланный провидением корабль.

« — Найдется ли такой простофиля, чтобы итти бродить вокруг этой посуды? . . Я-то уж не стану тратить время на подобную ерунду! . . И не я! . . Я утверждаю, что ни один грузчик не спрячет стоу-эуэя на корабле! . . А о поварах не стоит и говорить! . . Ослы, гордые своей плитой! . . И каптенармус, следящий за вхо-

дами! . . . Чурбан, являющийся без билета, тотчас же передается в руки полиции. . . И путешествие сразу же заканчивается в аргентинской тюрьме. . . Не стоит об этом и говорить! . . .

«Больше об этом и не говорили. Но утром в день отплытия при выходе из ночлежки я заметил, что, вместо того, чтобы разбресть по улицам кучками по три или четыре человека, как то бывало обычно, каждый из бродяг старался улизнуть один под каким бы ни было предлогом, при чем, быть-может, самым неправдоподобным из них был предлог Арби, объявившего:

« — Я вас покидаю, пентюхи! Я иду в город искать работы!

«Что касается меня, то я лицемерно отправился окольной дорогой, несмотря ни на что приведшей меня все же в половине двенадцатого на набережную второго бассейна. Через носовые мостки проходили последние пассажиры третьего класса, подвергаясь тщательному контролю. В салоне богачи распивали традиционную бутылку шампанского за счастливый исход путешествия. С письмом в руках, с озабоченным видом посыльного, в последнюю минуту разыскивающего пассажира, я взошел на корабль по сходням первого класса. Пересечь вслед за этим столовую, пройти во второй класс, а оттуда спрыгнуть в междупалубное пространство и смешаться с толпой бедняков, было делом уже нетрудным. Через четверть часа раздался отходный звонок; причальные канаты соскользнули, якорь был поднят, гудок засвистел. «Вашингтон» прошел в наружный бассейн, затем вышел из порта на простор реки; набережные уже казались миниатюрными игрушками, на которых крошечные фигурки махали кукольными платочками. Тогда я вздохнул свободно. Но радостная уверенность в том, что теперь я попаду в славный порт Сан-Франциско, не избавляла меня от некоторых угрызений совести за свой лицемерный побег с улицы Виамонте. Я поступил по-свински, улизнув так, не попрощавшись даже с чурбанами! Я был погружен в размышления по этому поводу, как вдруг моим взорам предстала запущенная борода Апостола: так, значит, мы оба потихоньку подняли паруса! Но не успели мы поздравить друг друга, как из спасательной шлюпки показалась тощая физиономия Арби, того самого, который с таким жаром отговаривал других от тайной посадки. Из близлежащей кухни доносился запах супа с капустой. Он побудил Подноса покинуть уборную, куда его спрятал сострадательный юнга. Не прошло и десяти минут, как Маркиз, обратившийся в негра, вылез из угольного трюма, куда пронес его соучастник-грузчик вместе с последним мешком угля. Когда зазвонили к обеду, все мы, двадцать пять пансионеров ночлежки, были в сборе. Каждый из нас сел на корабль, ничего не сказав об этом другим из страха, что откровенность может возбудить аналогичные попытки со стороны товарищей, а это уменьшило бы шансы каждого в отдельности!

«Арби резюмировал положение:

« — Ловко сработано!

«Каптенармус также распорядился ловко. По мере того, как нас открывали, он назначал нас на различные работы по судну. Апостол получил назначение мыть палубу, Поднос и Маркиз были посланы мыть посуду. Арби и адвокат помогали плотникам. Я же был замечен последним, когда отчаяние властей достигло крайних пределов, и потому был отдан в рабство черным демонам топок. Они оказались не плохими ребятами и разделяли со мной свой стол, равно как и свою работу. Тем не менее, мне приходилось выстаивать свои две смены в глубине угольного трюма среди воздуха, которым невозможно было дышать. Когда, наконец, миновав Огненную Землю, пройдя Магелланов пролив и поднявшись в северное полушарие — более пяти недель плавания! — «Вашингтон» пристал к набережной Сан-Франциско, двадцать пять бродяг с улицы Виамонте первыми соскочили на землю, прежде нежели платные пассажиры и судовая команда... В те времена еще не нужно было паспорта, чтобы странствовать по всему свету... Мы расстались, чтобы каждому на свободе отправиться навстречу своей судьбе.

«Я пришел сюда из Фриско пешком. В Южной Калифорнии тогда уже не было золотых приисков, но в ней только-что открыли нефть. Я бурил скважины. Затем появилось кино. Я люблю этот уголок, немного напоминающий мне Францию. Я бросил якорь. К тому же, я слишком стар, чтобы снова отправиться куда-либо отсюда. Я подохну в стране кино среди множества других бедняков».

Солнце соблаговолило, наконец, показаться. Режиссеры при помощи рупоров собрали статистов, которые должны были принять участие в батальной сцене. Мы принялись за работу.

Этим утром я, как побывавший на настоящей войне, был назначен командиром роты. Мой сержант (лишь в Америке можно найти пример подобных падений!) — не кто иной, как бывший директор «Универсала», вследствие какой-то профессиональной оплошности опустившийся до степени «экстра», получающего по семи долларов в день. Мой отряд состоит из людей, отвыкших на фронте от регулярного труда и по демобилизации ставших случайными актерами; но, без сомнения, они скоро убедятся, что в Лос-Анджелесе борьба за жизнь подчас бывает не легче, чем борьба на смерть в Аргонских лесах. Я вознаграждаю преданность ко мне Каликао галунами капрала.

— Ты знаешь, мне не хотели давать работы, так как у меня седые волосы! Так, значит, я не гожусь даже на то, чтобы хоть в кино задать перца пруссакам!

Каликао никогда не утешится от огорчения, что в 1914-м году французское консульство не допустило его добровольцем в ряды

войск. В 1870-м году он был в числе волонтеров Луары, но, не участвовав в победе 1918-го года, он все еще ждет реванша, своего реванша. Он тщательно готовится к нему, поправляя ремешки своего красного кепи (эпизод этот происходит в начале войны) и заряжая винтовку холостыми патронами.

— Не беспокойся, чурбан! Я доберусь до этих подлых бошей! «Подлые боши» занимают свою позицию против нас. Двести уланов, все настоящие немцы. Мужчины лет двадцати пяти — тридцати, ловко сидящие в седле, затянутые в серые доломаны, в киверах набекрень, с винтовкой у луки и высоко поднятыми пиками.

Без бдительности союзных эскадр в Атлантическом океане эти двести германских запасных также бряцали бы шпорами на мостовых наших разрушенных городов. Их не так-то легко утешить в том, что они упустили подобный случай. Командующий ими офицер — кузен Гинденбурга, граф фон К., эмигрировавший на другой день после перемирия, вслед за падением кайзера и своим собственным разорением. Этого знатного статиста костюмеру не приходится снабжать формой улана; графу фон К. достаточно извлечь свое парадное одеяние со дна чемодана, с которым он несколько недель тому назад явился в страну кино.

Увидя себя среди прусских солдат, под командой прусского офицера, немцы-статисты почувствовали, что в них вновь пробуждается их былая гордость. К тому же никто из них, за исключением их начальника, не испытал поражения, подобно тому, как Каликао не вкусил победы. Лошади бьют землю копытами, всадники подбоченились. Блестящие, сверкающие, вызывающие, это — надменные уланы перед Марной. Ни разу кинематографическая постановка не приближалась до такой степени к действительности.

Рупор директора скомандовал:

— Начинай! Аппарат!

Неприятельский отряд устремляется на нас. Идет трескотня холостых выстрелов, обозначающих нашу линию белыми дымками. Кино-оператор фиксирует эту картину тем же монотонным движением руки, каким работает пулеметчик. На рысях, вздымая облако пыли, уланы входят в поле зрения объективов.

— Капитан, падайте! — кричит директор прусскому офицеру. — А вы, кавалеристы, отступайте!

Но граф фон К. больше не собирается падать. Он поднял шашку, и его эскадрон вместо того, чтоб поворотить коней, опустил копья, приготовился атаковать нас. Наш огонь учащается, но не наносит никакого ущерба рядам противника. Директор проревел, что есть мочи:

— Да падайте же, немцы! Падайте! Вы убиты... убиты все!

Уланы не слышат директорского рупора или же не хотят пови-

новаться никому, кроме своего офицера, который, привстав на стременах, испускает крик:

— *V o r w ä r t s!*¹

Во весь опор, вопреки сценарию, германские запасные угрожающе несутся на нас. Я вижу, как Каликао с вылезавшими из орбит глазами, возомнивший, что настал и его час, выскочил из нашего ненадежного окопа и, вопреки всякой стратегии, со штыком наперевес бросился навстречу неприятельской кавалерии. Прочие синие мундиры последовали его инстинктивному порыву. Сейчас совершится нечто чудовищное, нелепое, безумное. Я сам с трудом обращаю свои мысли к действительности. Я кричу:

— Берегитесь!

Слишком поздно. Эскадрон уже налетел на нас. Один из всадников сшиб меня с ног. Прежде, чем я упал, моим глазам предстала картина битвы: свалка коней и людей, немецкие шашки, опускающиеся на красные кепи, французские приклады, сплюсцивающие кивера. В течение десяти минут кипела настоящая битва, прежде чем подбежавшие режиссеры смогли, наконец, разнять сражающихся. Директор взбешенный, обращается к графу фон К.

— Этим неправильным маневром вы заставили нас потерять полдня! Я ведь сказал вам, чтобы вы упали, а ваши кавалеристы тем временем должны были поворотить коней!

Тогда кузен Гинденбурга со своего рода наглостью ответил:

— Я сожалею о своей ошибке. Но мои уланы внезапно позабыли, что действие происходит в тысяча девятьсот четырнадцатом году... Я подумал, что мы уже в тысяча девятьсот тридцатом... и победили!

Приходится вторично заснять эпизод, в котором прусские запасные принуждены, наконец, согласиться на роль побежденных. Только увидав, что все двести уланов отступили или лежат на земле, Каликао, вывихнувший себе в первой стычке ногу, соглашается на эвакуацию.

— Ну, чурбан! Все же я задал им перца, этим бошам! — сказал он мне.

Он получал от студии по пяти долларов в день в течение трех недель, пока длилась его неработоспособность, возникшая от несчастного случая на работе.

VIII.

ДЖЕРАЛЬДИНА ФАРРАР ИЛИ КОСТЮМ ДЕЛАЕТ БОЛЬШЕВИКОМ.

По истечении шести месяцев бесплодных усилий в стране кино, я все еще не мог выбраться из толпы «экстра». И кроме того, для меня оставались попрежнему недоступными «Сорок» —

¹ Вперед!

сливки статистов. «Сорок» среди статистов Лон-Анджелеса — то же, что «Четыреста» в высшем свете Нью-Йорка. Но в то время, как «Четыреста» являются богатейшими из американских плутократов, «Сорок» всего лишь беднейшие из представителей европейской аристократии. Но зато какой! Русские князья, итальянские маркизы, французские графы, немецкие бароны, все с древнейшими родословными, пышными гербами и каждый из них... гол, как сокол... Не смейтесь! Эти вновь испеченные бедняки, жертвы игорного дома, кутежей, любовных увлечений, социальной революции или же попросту враждебного им рока, вынужденные после самых невероятных превратностей судьбы покинуть развалины своих замков и эмигрировать в страну кино, являются последними представителями своей эпохи.

Человеческое общество представляет хоть какой-нибудь интерес лишь в двух своих крайностях: ночлежном доме и аристократическом квартале! Все остальное банально!..

Однажды, когда *casting director* Гольдуина в тридцатый раз приветствовал меня своим *Nothing doing*, я отважился спросить его о причинах своей немилости в его студии:

— Почему вы не дадите мне роли в каком-нибудь светском эпизоде? У меня есть хорошо сшитый костюм.

— Возможно, — сухо ответил мне директор, — но для того, чтобы участвовать в этих сценах за десять долларов в день, нужно иметь титул.

Через час я был в редакции «Камеры», а в следующее воскресенье кинематографический еженедельник за довольно умеренное вознаграждение возвещал студиям Лос-Анджелеса, что к уже имеющимся налицо «Сорока» присоединился сорок первый разорившийся аристократ, самый настоящий. Под моей фотографической карточкой красовалось мое имя, удлиненное титулом и почетной частицей. Едва влажный листок вышел из типографии, как звонок телефона вызвал меня к Гольдуину.

— Дорогой граф, — сказал мне директор, внезапно преобразившись, — этим вечером мы снимаем оперный театр в С.-Петербурге, с участием Джеральдины Фаррар и Лу Теллегена. Вы будете в ложе дипломатического корпуса.

Я был в дипломатической ложе в обществе русского князя, низведенного большевиками до профессии статиста. Кроме того, там были венецианский маркиз и английский баронет. По правую руку от меня сидел маленький старичок, весь увешанный орденами. Это был далматский маркграф, который каждый из своих рассказов неизменно начинал следующей фразой:

— Когда я был камергером его величества Франца-Иосифа...

Слева от меня занял место кузен Гинденбурга, тот самый граф фон К., которому его прошлое капитана уланов обеспечивало почетную и прибыльную привилегию неизменно командовать искусственными атаками в стране кино. Из нашей ложи мы могли видеть

весь зал, наполненный тысячею двумястами статистов во фраках и балльных платьях. Точность воспроизведения оперного театра в С.-Петербурге была поразительная: в императорской ложе у авансцены царь и царица; Лу Теллеген, в жизни муж Джеральдины Фаррар, а по фильму ее жених, красовался в великокняжеской ложе своим блестящим мундиром кавалергарда; Джеральдина Фаррар, и по сценарию сохранившая свою действительную роль истолковательницы Вагнера, пела на сцене в «Лоэнгрине».

Когда после финала второго акта занавес опустился, рупор директора возвестил, что граф фон К., маркграф и я должны перед взором объектива принести певице свои дипломатические поздравления. Пока мы пробирались к ложе, где знаменитость должна



Джеральдина Фаррар.

была принять наши аристократические комплименты, граф фон К. сказал мне:

— До войны и ее брака с Лу Теллегеном я встречал Джеральдину Фаррар в Берлине у кронпринца. Вам, конечно, известно, что он был по уши влюблен в нее. Потребовалось вмешательство кайзера, чтобы помешать нашему наследному принцу жениться на американке-актрисе. Когда Соединенные Штаты приняли участие в мировой войне, здесь несколько косо поглядывали на Джеральдину Фаррар за ее былую связь с кронпринцем. Как будто

эти янки-демократы не должны были считать за честь для себя, что на одну из их девчонок обратил внимание сын императора!

Но вот раздается команда директора:

— Вы быстро пройдете один за другим перед миссис Фаррар! Свет! Начинайте! Аппарат!

Маркграф склоняется первым. За ним очередь графа фон К. Но певица узнала его. Я слышу голос кузена Гинденбурга:

— Gnädige Frau... Lustiger Potsdam... Unser liebe Kronprinz...¹

Бывший уланский офицер медлит возле бывшей морганатической супруги своего повелителя; охваченные воспоминаниями, оба они забывают и режиссера, и сценарий, и Лос-Анджелес, и студию Гольдуина; они видят себя там, в Германии, в 1914-м году. Потребовался голос директора, чтобы вернуть их к кино-действительности:

¹ Сударыня... Веселый Потсдам... Наш обожаемый кронпринц...

— Да живее же! Поторопитесь! Своей болтовней вы портите эпизод!

Наконец, я могу в свою очередь склониться перед звездой. Когда я вышел из поля зрения объектива и присоединился к графу фон К., последний с горечью сказал мне:

— Слышали вы, что сказал этот грубиян-директор? Ах, будь это до войны, я научил бы его, как надо обращаться к немецкому офицеру!

Увы! Несколько минут спустя, граф фон К. забыл о своем чувстве собственного достоинства, а вместе с ним и все «Сорок» забыли и свое происхождение, и свое прошлое, и свои принципы твердой власти. На сколь хрупком основании покоится дух касты!

Половина первого. Тысяча двести статистов наняты до часу ночи. Осталось всего тридцать минут, чтобы заснять второй эпизод в зале оперы. Но на этот раз, это уже не опера в С.-Петербурге, а опера в Петрограде. Царизм пал. Нет больше ни фраков, ни бальных туалетов. Народные комиссары расположились в дипломатической ложе. В царской ложе сидят Троцкий и Ленин. Джеральдина Фаррар, только что певшая перед великими князьями, придворными, генералами и знатными дамами, должна теперь петь по приказу Совета перед партером, наполненным матросами, людьми в чуйках, оборванными работницами.

— Ступайте к костюмеру! — раздается режиссерский окрик статистам. — Вам выдадут рваные брюки, фуражки, высокие сапоги, косоворотки. Наденьте все это поверх ваших фраков. Пусть женщины скроют свои бальные туалеты под рваными шальями. И ведите себя, как люди, не привыкшие посещать оперу! Контраст будет поразительный!

Контраст, действительно, был поразительный, когда в 1 ч. 10 мин. недавняя толпа богачей вновь заняла свои прежние места, превратившись в толпу бедняков... Но было уже 1 ч. 10 мин., а съемка эпизода не могла окончиться раньше двух.

— Мы наняты до часу! — крикнул чей-то голос. — Заплатите нам сверхурочные!

Послышались возгласы одобрения:

— Не будет больше трамваев! Нам придется брать такси! Заплатите нам семь долларов сверхурочных!

Директор попытался успокоить смутьянов:

— Немножко терпения! Через пять минут вы будете свободны!

Но уже вся тысяча двести статистов дружно вопила:

— Семь долларов! Семь долларов!

Один из режиссеров неблагоприятно бросил им вызов:

— Вы не получите больше работы!

В ответ поднялась целая буря. Над головами поднялись сжатые кулаки:

— Долой Гольдуина! Сверхурочные! Семь долларов! Семь долларов!

Директор сделал последнюю попытку примирения и обратился к ломам, где восседали «Сорок» — русские князья, итальянские маркизы, французские графы, немецкие бароны: последний оплот порядка! Но, надев на себя одежду народа, его помятые фуражки, его грязные брюки, его лоснящиеся кожаные куртки, аристократы восприняли также и дух его. Граф фон К., бывший уланский капитан, — теперь революционный кронштадтский матрос.

— Да здравствуют Советы! — кричит русский князь в припадке безумия.

Маленький маркграф, еще недавно такой консерватор в своих орденах, превратился теперь в экзальтированного комиссара и требовал головы директора или... семь долларов сверхурочных. Бунт охватил весь театр, и ложи, и партер. Пришлось уступить. Один из режиссеров выступил вперед:

— Вы получите семь долларов сверхурочных!

Большевизм восторжествовал. Только после этого смогли приступить в съемке...

IX.

ПИОНЕРЫ ЭКРАНА.

Мне никогда не приходилось работать у Гриффитса, и я сожалею об этом. Но зато я не раз работал под руководством другого ветерана кино — Сесилия де Милля. Среди представителей искусства, к сожалению лишь весьма медленно очищающегося от множества нежелательных элементов, образ Сесилия де Милля неразрывно связан с представлением о высокой культурности, которая делает художественного руководителя «Парамаунта» совершеннейшим типом джентльмена экрана.

Первые шаги немого искусства, пионерами которого были Ласки и Миль, составляют одну из славных страниц повествования об энергии американцев. В ту эпоху — героический век кино! — экрану были известны лишь ленты, не превышавшие двухсот метров, на которых без сценария, без заранее разработанной мизансцены, по прихоти фантазии импровизированного режиссера жестикулировали любители. Не было ни студий, ни электрического освещения. Сцены внутри зданий снимались на открытом воздухе, при помощи натянутых на столбах декораций. Представьте себе прибытие на дальний Запад этих двух молодых горожан, отправившихся на покорение страны кино, еще накануне бывшей страной золота. Они приехали прямо из Нью-Йорка, и нельзя сказать, чтобы под счастливой звездой. Им пришлось бежать с Бродвея, этой сверкающей артерии, где огненными буквами пылают имена знаменитостей американского

театра. Ласки и Милль уже вкусили в этом огромном, пожирающем людей городе славу и барыши победителей: Ласки — в качестве директора Фоли-Бержер, а Милль, — как импрессарио «Мужайся!», большой музыкальной пьесы, исполненной оптимизма... Увы! В одно злосчастное утро, вопреки обнадеживающему заглавию пьесы, предприятие Сесиль де Милля лопнуло, а инициатор его был разорен; ему угрожало банкротство, и он был также сломлен («broken»), по выражению американцев, как и его собрат Ласки, мюзик-холл которого в эту же эпоху стал добычей целого полчища кредиторов.

Что еще оставалось им, как не отправиться на дальний Запад? В те времена это было равносильно тому, как в наши дни потерявшему всякую надежду записаться в Иностранный легион. И вот Сесиль де Милль и Ласки, с несколькими долларами в кармане, на мостовой Лос-Анджелеса. Город-гриб тогда еще только-что вырос из лагеря, основанного первыми эмигрантами: охотниками, золотоискателями и всякого рода авантюристами. Но в своем единственном чемодане эти два пионера привезли с собой кино-сценарий, который был родоначальником всех остальных.

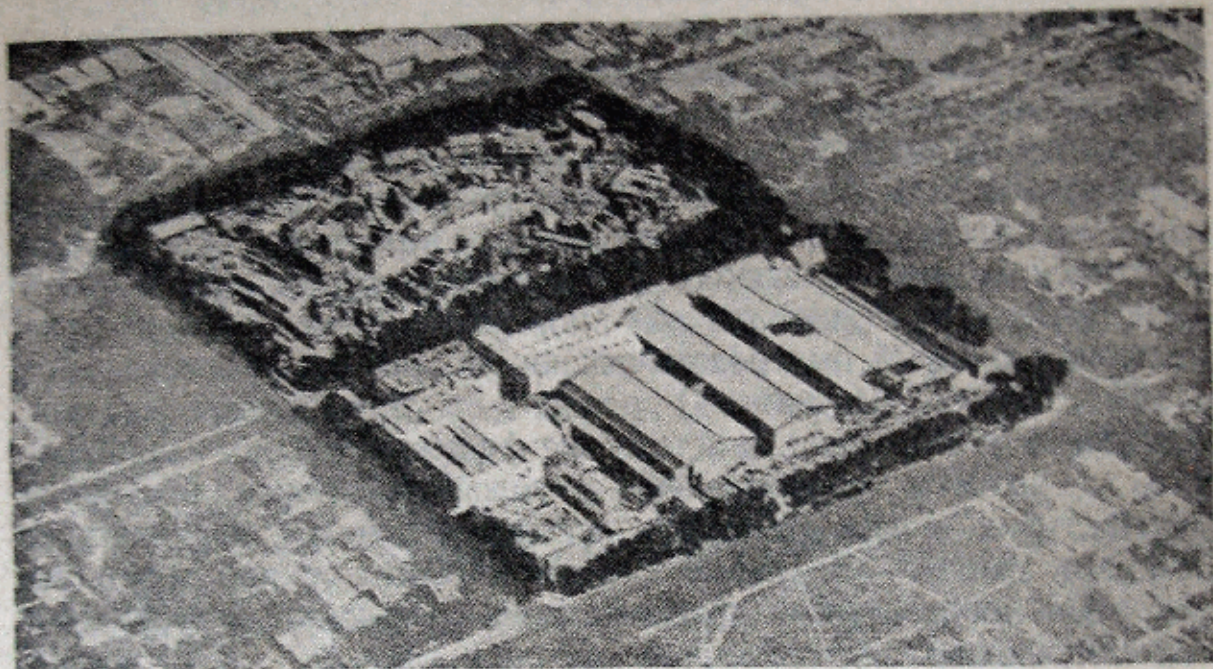
«The Squaw» («Индианка») должна была стать первым фильмом, достойным этого имени, и к тому же фильмом глубоко национальным, в котором разноплеменная толпа Нью-Йорка, Бостона и Филадельфии могла созерцать жизнь подлинно американского дальнего Запада — безумные скачки ковбоев, стычки с его все еще непокорившимися краснокожими, манящий призрак его неисследованных земель.

В те времена Голливуд был лишь небольшой станцией на пути от океана к Скалистым горам. Кто бы мог предсказать, что в один прекрасный день кино превратит это предместье Лос-Анджелеса в место свиданий королей немого искусства и что там, среди диких предгорий, сотня миллионеров экрана воздвигнет свои роскошные виллы! Для установки своего единственного проектора, Милль и Ласки располагают всего лишь овечьим хлевом. Что за важность! Они водворяются в нем. В окрестностях бедствует труппа актеров: наши пионеры дают ей пристанище. Мимо проходит бродячий фотограф: его окликают. И вот будущие директора «Фэмос Плэйерс» за работой. «Индианка», проданная за 30000 долларов, сумму для той эпохи баснословную, послужила отправным пунктом той отрасли американского производства, которая в одних лишь Соединенных Штатах вызвала к жизни 25000 экранов и заняла третье место в промышленности Нового Света, ежегодно расходуя больше двухсот миллионов долларов, чтобы выработать 45000 километров оригинальной пленки. В Соединенных Штатах кино содержит по меньшей мере два миллиона людей, и в одном только Лос-Анджелесе им кормится 60000.

На месте первоначального овечьего хлева возвышается теперь центральная студия «Парамаунта». Вокруг выросла столица кино,

строения которой занимают двадцать гектаров, а главная сценическая площадка — не менее 8000 квадратных метров. Электрическая подстанция мощностью в 8000 киловатт освещает это гигантское сооружение, выпускающее 1000 километров пленки, считая и копии, в неделю. Но не каждый желающий может проникнуть в город кино. Ни одна студия в мире не охраняет себя более тщательно от любопытных и новичков, чем студия Ласки.

Тем не менее, в силу того, что я являлся к окошечку каждое утро, мое лицо, в конце концов, стало знакомо *casting director'y*.



На месте овечьего хлева возвышается теперь центральная студия «Парамаунта».

Однажды этот последний, смерив меня взглядом с ног до головы, сказал мне:

— Войдите. Вы получите роль повара в «Очаровательном Крайтоне».

Роль? Наконец-то у меня была роль! Увы! Заведующий ангажементом вселил в меня чрезмерные надежды. Впоследствии я мог созерцать на экране себя, в белом фартуке и белом колпаке, с блюдом в руках, обносящего им сидящую за столом высокомерную челядь.

Роль повара в «Очаровательном Крайтоне» не более значительна, чем роль врача в пьесе «Король веселится». Даже напротив: ученый муж в драме Виктора Гюго должен произнести целых три слова, тогда как фильм Сесилия де Милля позволял мне только один жест — подавать блюдо прислуге замка. Только один жест! Но какой! Подавать завтрак мэтр-отелю Томасу Мейгану, субретке Лиле Ли, груму Вэсли Барри! На протяжении пятидесяти

сантиметров пленки я выступаю в роли стольничего трех королей экрана, хлопоча около них со своим дымящимся блюдом! Томас Мейган с достоинством накладывает себе на тарелку; Лила Ли благодарит меня улыбкой; Вэсли Барри терпеливо ждет своей очереди, и в его детских глазах уже проглядывает глубокая грусть, присущая великим комикам. И воспоминание о том, что для появления на семь секунд на экране мне потребовались три дня работы в студии, окончательно придает этой роли совершенно исключительное значение, утешающее меня в ее мимолетности. К тому же, «Очаровательный Крайтон» вознаградил меня еще кое-чем. В перерывах между сценами слуги могли смешаться с хозяевами, и я получил возможность беседовать на равной ноге в обстановке гостиной с самой Глорией Свансон, дочерью и наследницей моего хозяина Теодора Робертса, человека с вечной сигарой во рту. Она сказала мне:

— Ах, ваш Париж! Что за дивная атмосфера! Я была в нем всего лишь один раз! Но воспоминание о нем незабвенно! У вас чувствуешь себя свободной! Никто не узнает вас в вашей столице или, по меньшей мере, никто не может ручаться, что узнал вас! Мне случалось наблюдать, как где-нибудь в ресторане или на улице кто-либо пристально смотрел на меня и бормотал при этом:

« — Смотри, как она похожа на Глорию Свансон!» — И мне приходилось также слышать ответ:

« — Ты находишь? Она в Лос-Анджелесе! Тебе повсюду мерещатся кино-светила!

«Быть на берегах Сены в то время, как все думают, что вы у подножья Скалистых гор! Своеобразное ощущение!

«Две вещи у вас особенно заинтересовали меня. Во-первых, ваши шоферы; у нас, в наших англо-саксонских городах, люди ходят стадом, и в буквальном и в переносном смысле слова; каждый чувствует локти соседа и повинуетя общеустановленному порядку. Мы думаем сообща и часто все одно и то же. На улице наша толпа — послушное орудие в руках полисмена. У вас, романцев, прохожие переходят улицы, где им вздумается, когда им вздумается, а ваши автомобили совершенно не считаются с белыми жезлами ваших полицейских. Вашим шоферам совершенно безразлично, свернуть ли направо или налево, и они налетают друг на друга, нимало не заботясь о правилах уличного движения. Поразительные парижские такси олицетворяют для меня анархизм... простите... индивидуализм романской расы!

«Второе, чем я восхищаюсь, хотя по совершенно иной причине, — ваши женщины. Успела ли я за свое трехнедельное пребывание разгадать их, моих маленьких европейских кузин, восторженных хранительниц гуманной нежности, великого христианского сострадания? Под их платьями, сшитыми по последней моде, бьется сердце идеальной женщины, добровольно приносящей

себя в жертву в борьбе страстей. Я родилась в стране суффражисток, но я отношусь с презрением к чересчур далеко заходящему феминизму, который кончит тем, что лишит моих американских сестер всякой женственности. Чересчур далеко заходящий феминизм! Вот в чем великая национальная опасность, угрожающая нашей расе! Чувствуя себя свободными, привилегированными и, видя, как их балуют, наши девушки преследуют в жизни лишь одну цель: удовольствие, удовольствие властвовать, удовольствие вечных *good times*, удовольствие нравиться — самое большее из всех. На алтарь любви они приносят в жертву не себя, а других... Право на счастье? Чересчур многие среди нас вопиют о нем, а сами даже хорошенько не знают, что значит слово «счастье»!

«Быть-может, скажут, что мое представление о роли женщины имеет своей исходной точкой пессимизм! Возможно, что это правда. Я пессимистка. Все житейские приключения завершаются плачевно. Тем не менее, я выступаю только в тех фильмах, которые оканчиваются как нельзя лучше в этом лучшем из миров, и не желаю выступать в иных, так как я играю не для себя, а для других: для тех, в кого я хочу вдохнуть мужество, надежды, иллюзии, оптимизм!»

Глория Свансон все еще говорит. Она позволяет себе катиться по наклонной плоскости признаний, говорит мне о своей жизни, полной нравственных терзаний, отравленной неверным мужем, увлекающимся всеми женщинами, кроме собственной жены. Она оплакивает свою любовь отвергнутой супруги. На один час я оказался ее поверенным. Слезы подступают к ее глазам.

Но голос Сесилия де Милля вновь призвал нас на сцену. Минуту спустя Глория Свансон, неподражаемо владеющая своим искусством, изобразила перед объективом шесть самых разнообразных переживаний, следовавших одно за другим на протяжении двадцати пяти секунд. И последнее из них говорило о беззаботности, о презрении ко всем житейским горестям, своим и чужим. О, вечная человеческая комедия! Где ты? В улыбке ли артистки перед объективом или же в слезах женщины, сидевшей предо мной?

«Очаровательный Крайтон», приблизивший меня к Ласки и Сесилию де Миллю, позволил мне также проинтервьюировать Адольфа Зукора, короля американской кинематографии.

Для заатлантического делового человека время — деньги. Поэтому беседа, которой удостоил меня великий делец, была коротка: три вопроса, три ответа и точка.

— Мистер Зукор, с чего вы начали свою карьеру?

— Мальчиком в магазине, за два доллара в неделю!

— В чем секрет вашего успеха?

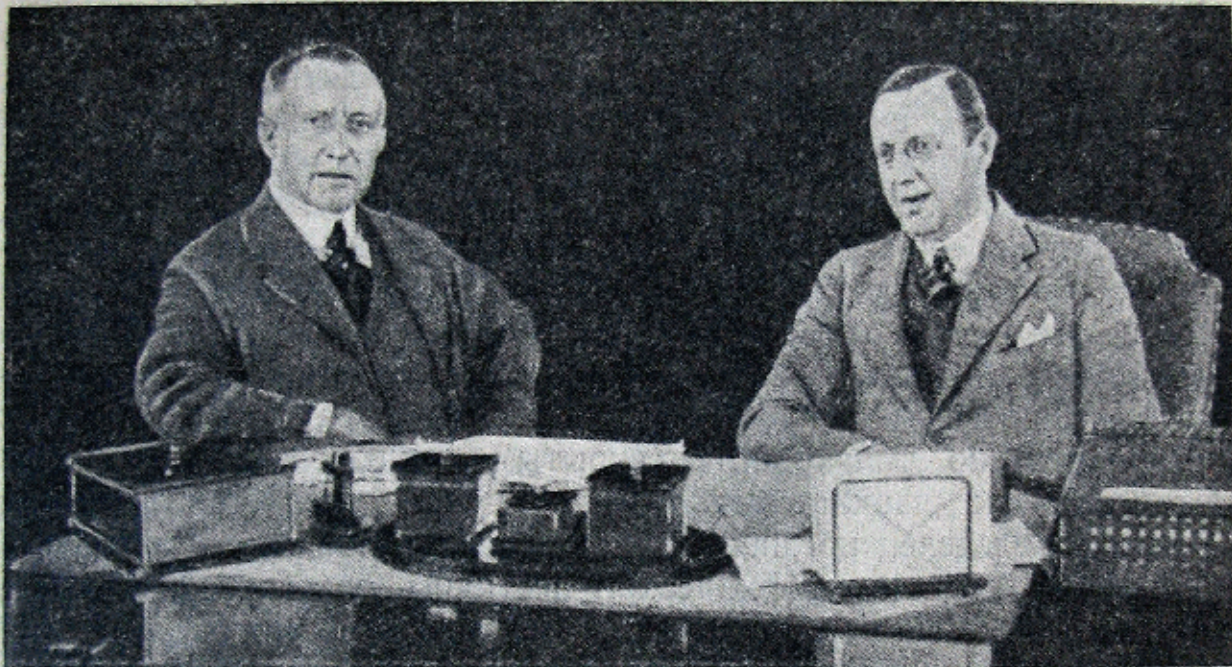
— Четырнадцать часов работы в сутки... Мне пятьдесят лет, и я веду этот образ жизни с шестнадцати.

— Когда вы рассчитываете предаться вполне заслуженному отдыху?

— Никогда. Американский делец умирает за своим рабочим столом. У нас даже старики, впавшие в детство, продолжают работу.

Что это, лишь красное словцо? Отнюдь нет!

Совсем недавно постановление бостонского суда предписало опекуну старого, выжившего из ума миллионера предоставить



Короли кино:
Адольф Зукор и Джесс Ласки.

в распоряжение последнего целую контору с конторками, секретарем, рассыльным, машинисткой, телефонисткой, «с единственной лишь целью», как выразился судья, «устранить из мыслей больного идею покоя, которая, по мнению врачей, сократила бы дни бывшего дельца».

Какой фантастический роман может соперничать с этим анекдотом из жизни янки? Какая картина: старый сумасшедший миллионер, диктующий стенографистке письма, которые не будут отправлены, отдающий биржевому агенту приказания, которые не будут исполнены, отправляющий с рассыльным несуществующему компаньону срочные послания, которым заранее суждено попасть в мусорную корзину, в то время как на другом конце телефонного провода голос наемного соучастника дополняет эту иллюзию деятельности, необходимой для старика!

X.

НАЗИМОВА И МАРГАРИТА КЛАРК ИЛИ ВЛЮБЛЕННЫЕ ЗВЕЗДЫ ЭКРАНА.

Холливудские знаменитости не в большей степени, чем прочие живые кумиры, могут приблизиться к своим обожателям, не рискуя при этом умалить себя. Я пожалел бы романиста, который вздумал бы искать источник вдохновения у знаменитостей экрана. Как бедна была бы его жатва идей, чувств и даже простых переживаний среди тех, назначение которых проявлять, словно во сне, человеческую душу! Не стремитесь узнать в их жизни вашего героя или героиню экрана, если вы хотите сохранить о них свои иллюзии. Старайтесь не заглядывать в студию, где их ничтожная личность, рабски повинующаяся директору, покажется вам столь же лишенной индивидуальности, как мягкий воск в руках ваятеля. Как мало среди этих мировых знаменитостей таких, которые не были бы бессознательными орудиями! Нет великого человека для его режиссера. И профессиональное презрение директора к актеру может быть сравнено только с тем скрытым пренебрежением, с каким относится к вдохновителю фильма его высокопоставленный хозяин — владелец предприятия. Так мир кино, рассматриваемый с верхней ступени иерархической лестницы, еще в большей степени, нежели какой-либо иной из человеческих миров, построен на презрении, тщательно передаваемом с первой ступени до последней. Прибавьте к этому деморализующее влияние легко достающихся денег на более чем заурядные головы, и вы скоро убедитесь, что общество светил экрана так же скучно, как роман или пьеса, где все действующие лица — внезапно разбогатевшие выскочки. Богатство это, к тому же столь же эфемерно, как и внезапно; его можно сравнить со славой зеленых и желтых наездников византийского цирка, имена которых после первого же проигранного бега погружались в бездну забвения, затмив перед этим своей популярностью самого императора.

Но, быть-может, жестоко об этом распространяться, ибо хроники страны кино служат источником лучезарнейших иллюзий для столь многих скромных существований.

— Когда ты будешь большой, ты выйдешь замуж за прекрасного принца! — рассказывали некогда наши прабабушки нашим матерям.

Ныне, чтобы убаюкать наших внучат, мы говорим им:

— Когда ты вырастешь, ты будешь кино-артисткой!

Что за дивные волшебные сказки для благоразумных детей и для взрослых, которые никогда не будут благоразумны.

Так же неуместно было бы останавливаться на пороках столицы кино, подробно описывать ее пьянство и кутежи... Перед экраном иконоборец столь же преувеличивает недостойность кумиров,

как преданный их обожатель преувеличивает их блеск. И я удивляюсь лишь тому, что так мало неистовств творится в городе, где каждое утро тот или иной вчерашний бедняк просыпается в шкуре свежеиспеченного миллионера, внезапно переходя от темной безвестности к головокружительной славе, от нищеты к богатству. Я удивляюсь, что при подобных потрясениях головы избранных так благоразумно противостоят опьянению денег и что эти люди, в конце концов, проявляют в общем такую умеренность, что могут служить достойным примером многим другим выскочкам Нового и Старого Света.

К тому же, достаточно изящного облика лишь одного из членов семьи, чтобы искупить недостойные поступки прочих членов колонии; и многое можно простить светилам Голливуда, так как двое из них по меньшей мере сумели полюбить.

Прежде всего, Назимова!

Это было в студии «Мэтро». Объектив наведен на «мадам». Наступил важный момент поцелуя.

— Аппарат! — скомандовал режиссер.

Я увидел, как залитый светом дуговых ламп влюбленный приближается к своей возлюбленной. Медленно совершается, чтобы предстать глазам миллионов людей, традиционный жест любви: руки сплетаются, лица сближаются, губы сливаются.

— Out! — кричит директор.

Аппарат перестал работать; его треск прекратился, прожектора потухли... но поцелуй все еще длится. Зародившись в притворстве, он продолжается в реальности еще целых десять секунд. Не может быть никакого сомнения. Избранник героини фильма является также избранником артистки в жизни. Заставляя вспоминать библейские времена, когда женщины-полудевочки любили патриархов, лучезарная Назимова избрала своим мужем старика... И она любит его... Почему?

В глубине души каждой женщины, отдающей себя, кроется какой-либо стимул, не причастный любви. Многие любят по рефлексу, думая, что они должны воздать добром за добро. Другие,



Назимова.

в которых разочарование пробудило жалость к самой себе, перенесли ее на существо еще более несчастное, чем они сами. Есть женщины чувственные, отдающиеся ради наслаждения, невращенки, отдающиеся со скуки, слабые, отдающиеся для того, чтобы обрести повелителя, сильные, отдающиеся для того, чтобы повелевать рабом. Сварливые любят необходимого им партнера их ежедневных споров. Набожные любят супруга из чувства долга, а анархистки любят любовника в знак вызова обществу. Флегматичные любят мужчину, находящегося в пределах досягаемости их лени. Девушка-дикарка любит самца, присутствие которого отгоняет ее ночные животные страхи. Женщина-варварка любит, чтобы разрушать, а язычница, чтобы обожествлять. Тщеславная любит мужчину известного, популярность которого служит ей рекламой. Завистливая любит любовника своей соперницы. Некоторые полюбят того, кто будет их первым, или же того, кого они считают последним. Сердца безвольных — во власти настойчивости первого встречного.

Взгляните на всех, молодых или старых, красивых или безобразных, богатых или бедных, на тех, в чьих жилах течет голубая кровь, или же принадлежащих к низшим кастам, и спросите себя, много ли среди них таких, которые отдают себя лишь для того, чтобы отдаться?

Что касается меня, то в стране кино я встретил два ярких исключения: Назимову с ее любовью в самом расцвете славы и Маргариту Кларк с ее любовью в момент ухода на покой. . .

Маргарита Кларк!

Она играет в последний раз. Вслед за этим прощальным фильмом она уезжает в Луизиану. Там отцовский дом, скромная ферма, покинутая двадцать лет тому назад, отпразднует возвращение заблудшей овечки. Завтра знаменитость удалится на покой, унося с собой воспоминания о двух десятилетиях кино-триумфов. Она везет с собой на родину своего мужа, за которого она вышла в час разлуки со славой и блеском. Его зовут Вильямс. Ростом он соответствует своей миниатюрной супруге. Он не красавец и не богач. Как кажется, он еще не опомнился от изумления, в какое повергло его это неожиданное счастье. Он взирает на Маргариту Кларк, как ночной мотылек, влюбленный в звезду. Таков товарищ по отдыху знаменитости, решившей уйти на покой.

И когда артистка разрешила скромному статисту проинтервьюировать ее, я услышал ее признание:

— Американская публика полагает, что интерес жизни в ее крайностях. Поэтому, чтобы заслужить ее внимание, надо быть чем-нибудь «самым» крайним. Я самая маленькая из знаменитостей; я на пять сантиметров ниже самой Мэри Пикфорд. Я самая большая оптимистка из всех женщин, так как даже в начале моей артистической карьеры, далеко не легком, я неизменно верила, что должна преуспеть. Я самая упорная

из всех людей, так как я возвысилась сама, ни разу не встретив на своем пути ниспосланного провидением режиссера, обычно фигурирующего в волшебных сказках кино. Я самая счастливая из новобрачных, так как мой медовый месяц будет длиться всегда с одним и тем же мужчиной. Моего мужа зовут Вильямс. Вы видите его. Он ловит мои слова, он наблюдает за мной, и я разрешаю ему это, так как я не феминистка. Моими самыми любимыми являются собаки, потому что они добры, и розы, потому что они прекрасны. Завтра я навсегда уезжаю в Луизиану, чтобы поселиться в деревне в самом восхитительном из домов, так как я буду жить в нем со своим мужем, двенадцатью собаками и бесчисленным количеством роз.

Маленькая Маргарита Кларк! Какой прекрасный урок даете вы нелепому упрямству театральных и кинематографических знаменитостей, цепляющихся, вопреки своему возрасту, за уходящую от них популярность! Если бы все обладали вашей мудростью, мы не знали бы грусти созерцать на сцене или экране сорокалетних инженерю и первых любовниц, годящихся в бабушки! Миниатюрная Маргарита Кларк, самая маленькая из звезд экрана! В тот самый час, когда вы меркнете, вы затмеваете своей последней вспышкой всех прочих светил, ваших сестер! Вы одна из тех, очень немногих, что не сочли своим долгом доверить мне свои сложные и запутанные чувства. Вы одна из тех очень немногих, что просто и искренне признались во всем! Презирая обманчивые предложения института молодости, вы не надрезали себе лицо на уровне висков и не впрыснули под кожу парафин. Вы приближаетесь к сорока годам. Вы отправляетесь в деревню ухаживать за своим маленьким садом. Вы жили, блистая красотой. Вы приготовились состариться в мудрости. Я завидую мистеру Вильямсу, вашему мужу.

XI.

ФРАНК КИНАН ИЛИ КАК ОПАСНО БЫТЬ ЗЛОДЕЕМ.

Франк Кинан олицетворяет собой энергию янки, подобно тому, как Дуглас Фэрбенкс воплощает их оптимизм, а Вильям Харт — свойственный им мистицизм. В кино-студиях каждый встречный почтительно приветствует Кинана титулом «губернатора». Я не буду особенно удивлен, если окажется, что старый актер был проконсулом в каком-нибудь из западных штатов во времена своей молодости, когда выборы производились еще при помощи долларов и револьверов.

Проникнув впервые в студию Брэнтона, я был поражен отчаянными криками, доносившимися с тщательно огороженной сцены.

— Не обращайтесь внимания, — сказали мне. — Это работает труппа Франка Кинана.

Чтобы лучше запечатлеть на лицах своих актеров выражение энергии, безобразнейший и вместе с тем выразительнейший из всех

артистов экрана заставляет своих сотрудников испускать с речеловеческими завываниями героев греческой трагедии. Надо думать, что система «губернатора» хороша, так как ей ежегодно обязаны своим появлением два или три фильма, которые считаются одними из лучших в Америке как по игре исполнителей, так и по четкости сценария, социальная или философская значимость которого нередко заставляет задуматься.

Когда я заявил *casting director*'у Брэнтона о своем желании позировать в фильме «Мир в огне», он рассмеялся мне в лицо:

— Кинан никогда не нанимает артистов, у которых было бы меньше десяти лет практики. К тому же, лицо, еще молодое, для него неинтересно. Ему нужны лица истощенные, изможденные. Но раз вы настаиваете, вы увидите его сегодня вечером. Во всяком случае, если «губернатор» обратит на вас внимание среди других статистов, он тотчас же назовет вам ваш тип. Франк Кинан никогда не ошибается. После его слов, вы будете знать, кто вы такой.

Я буду знать, кто я такой? Когда почти все мы проходим через жизнь, так до конца и не зная, кто мы такие! Я волновался, как перед раскрытием какой-либо тайны. Старый актер показался, взглянул на меня, подошел прямо ко мне и сказал своему директору, указывая на меня:

— Если он может играть, сделайте его начальником провокаторов. Это совершеннейший тип интеллигентного злодея!

Злодея, негодяя и предателя, которого освистывают в течение драмы и вешают в конце! О, все вы, проникающие в студию Франка Кинана, отбросьте при входе всякие иллюзии! Вы столкнетесь лицом к лицу с трагической истиной! Мечтать о том, чтобы воплотить и в жизни и в фильме «героя», — героя, раскрывающего заговор, спасающего инженю, удостаивающегося объятий благородного отца; мечтать, что ты хоть немного развитее других, что ты более чуток к требованиям справедливости, способен к состраданию, прощению, самопожертвованию, — и внезапно узнать, что ты являешься «злодеем» пьесы! Какое разочарование!

Тем не менее, я получил свою первую роль. Надо было ее играть. За сто долларов в неделю я разжигал волнения у ворот завода, проповедывал ненависть на перекрестках, клал первый камень на баррикаду, взрывал общественное строение, ранил выстрелом из ружья кротчайшую девушку во всем городе. По истечении двух недель подобного отвратительного поведения, в последнем эпизоде, я имел удовлетворение, почувствовав, как большой и указательный пальцы правой руки «губернатора» ущипнули меня за ухо, и услышав его голос:

— Хорошо, мой мальчик!

Но тем самым я стал «злодеем» для всех студий Лос-Анджелеса.

Театр Европы лишь отчасти подчиняется закону типа. Сорокапятилетняя актриса, лишь бы она была талантлива или известна,

легко может получить роль первой любовницы, тогда как двадцатипятилетний актер, понатужившись, как нельзя лучше изобразит лицо зрелого возраста. При помощи грима и силой своего таланта артисты, подобные Коклену, Антуану, Гитри и Жемье, играли одновременно героя или предателя, благородного отца или первого любовника, Дон-Жуана или Диафория, извозчика или императора.

Америка, страна узкой специализации по преимуществу, впервые применившая в промышленности принцип разделения труда, не легко позволяет артисту, какова бы ни была разносторонность его дарования, воплощать безразлично все возрасты, все социальные классы, все характеры, как это делается у нас. Первое требование, предъявляемое к кандидату на какую бы то ни было роль, состоит в том, чтобы он и в жизни в точности олицетворял тот тип, который он должен играть на сцене. Предатель должен родиться с лицом предателя; водевильной теще не позволят увеличить свой объем посредством подушек; запрещено пользоваться париками, по желанию старящими или молодящими; столетнего старца будет играть только старик; аристократические усы должны быть натуральны, равно как и лысина; при свете рампы Нью-Йорка француза будет играть только француз, а китайца — китаец; самое большее, если пьянице комедии позволят по уходе со сцены разбавить свое вино водой.

Это подчинение закону типа, против которого многое можно возразить, поскольку речь идет о театре, никогда не может быть излишне строгим в кино, где «большой план» неминуемо выдаст самый искусный грим или же фальшивую бороду, как бы хорошо прилажена она ни была. Если мне поручили на экране роль «злодея», значит я был «злодеем» и в жизни. Мне пришлось примириться со своей участью и заранее принять все те примерные кары, которые угрожают людям моего мало симпатичного типа. Я был поочередно расстрелян взводом солдат, повешен, гильотинирован, посажен на электрический стул. Однажды даже, казненный в силу



«Злодей» студий Лос-Анджелеса.

предложенного тогда закона, впоследствии введенного в одном из западных штатов, я был удушен парами хлороформа во время сна на кровати моей камеры.

Все эти смерти, перенесенные мною в многочисленных трюковых фильмах, забавляли меня до того момента, пока условность кино неожиданно не перешла в мою реальную жизнь. . .

Один из кино-директоров в погоне за популярностью напал на мысль сыграть на самых низменных инстинктах толпы, предложив ей историю грабежа, в которой главную роль должен был играть опасный разбойник, отбывший свой срок наказания. Благодаря «Даме в подвале», самый настоящий злодей Аризоны, едва отбыв свой срок каторжных работ, стал знаменитостью экрана. К несчастью, успех этого постыдного произведения обогатил его создателя. На следующий же день убийцы, воры и мошенники — все те, чьи злодеяния стяжали им некоторую известность — увидели, как к моменту их выхода из тюрьмы к ним простираются золотые мосты. В одном из таких нежелательных фильмов мне была поручена роль соучастника двух знаменитых воров, выпущенных накануне. Газеты Лос-Анджелеса возвестили, что для кино-съемки будет в точности воспроизведен самый дерзкий из их грабежей, и при том, в том самом ювелирном магазине, который они по-настоящему обокрали десять лет тому назад. И чтобы сделать этот необычайный эпизод еще более захватывающим, в нем должна была фигурировать в качестве аксессуара черная жемчужина, оцененная в 100000 долларов и знаменитая во всей Калифорнии. Во Франции организаторов подобного трюка заперли бы в сумасшедший дом. В Америке городское самоуправление предоставило в их распоряжение отряд полиции, который должен был оцепить улицу и тем облегчить съемку. Окна соседних с ювелирным магазином домов отдавались в наем за большие деньги. Крыши были полны любопытных.

Наконец, после того, как все технические приготовления были закончены, раздался крик:

— Начинай! Аппарат!

Автомобиль, в котором сидели двое преступников и я сам, остановился прямо перед магазином. Мы выскочили из экипажа и с револьверами в руках напали на ювелира. «Большой план» — знаменитая жемчужина. Притворно задушив ее владельца и как нельзя более реально похитив драгоценную безделушку, оба злодея снова вскакивают в автомобиль, в то время как я охраняю их бегство, сдерживая собравшуюся толпу встревоженных честных людей. По сценарию автомобиль должен был увезти нас всех троих, или, вернее, четверых, так как черная жемчужина во всей этой истории играла самую важную роль. И вот, к своему великому удивлению, я вижу, как два моих сообщника, не дожидаясь сигнала, трогаются и сразу же развивают бешеную скорость, оставляя меня на тротуаре в поле объектива, вопреки условленному сценарию. Но изу-

мление мое достигло крайних пределов, когда я увидел, что автомобиль вместо того, чтобы тотчас же, выйдя из поля зрения объектива, остановиться, продолжает свой путь с головокружительной быстротой и на глазах у всех исчезает по дороге, ведущей к Скалистым горам.

Во что бы то ни стало нужно было задержать виновника. Меня арестовали, меня допрашивали с помощью приемов, достойных испанской инквизиции. Разумеется, я мог бы поделиться со следователем своим внутренним убеждением, что ювелир по доброй воле позволил вору украсть черную жемчужину, которую он не мог продать, потому ли, что она была слишком дорога, или же потому, что в ней были какие-нибудь недостатки. Как бы то ни было, несколько недель спустя владелец знаменитой драгоценности с веселым лицом получил 100000 долларов в кассе страхового общества против воров. Но, высказывая свое мнение о деле, я рисковал бы, что меня обвинят, будто я хочу сбить со следов правосудие, тогда как, по чистой совести, я мог указать ему истину. Я промолчал. В конце концов, меня освободили. Само собой разумеется, двух артистов-преступников не разыскали. До конца своего пребывания в Лос-Анджелесе я чувствовал, что надо мной тяготеет всеобщее подозрение. Моя жизнь гражданина страдала от этого, но моя репутация кино-злодея лишь еще более упрочилась.

ХII.

ЛЮЮ КОДИ ИЛИ ВОСКРЕСШИЙ ДОН-ЖУАН.

В том возрасте, когда еще верят, что самое благородное честолюбие мужчины заключается в том, чтобы одерживать победы над женщинами, мое восхищение подростка разделялось между двумя бездельниками литературы: Дон-Жуаном и Милым Другом. В жизни оба эти зловещие типа воплощались для меня в лице Бебера-Забияки. Бебер был бандитом внешних бульваров. Слава его распространялась от холмов Монмартра до Шаронна. Она наполняла бульвар де ля Шапелль, заглядывала в кабачки де ля Виллетт, проникала в притоны Менильмонта, бродила по пустырям, окружающим Пар-Ляшез, перебиралась через заставы и останавливалась лишь у опушки Венсенского леса.

Бебер-Забияка был завсегдатаем винного погребка на улице Боливара. Несмотря на ужас, внушаемый ему подобным клиентом, хозяин остерегался выдать его полиции: Бебер притягивал посетителей. Каждый день после пяти часов вечера можно было видеть, как он восседает в задней комнате кабачка, окруженный дюжиной несчастных поклонниц, пришедших утолить созерцанием бандиту таинственную потребность, которая побуждает существ отстающих создавать себе кумиров. Какое безграничное восхищение читал я в их устремленных на Бебера глазах, сверкавших блеском экстаза первобытных мистиков!

Сказать по правде, во внешности Бебера не было ничего ужасного. Не в пример прочим злодеям, он не стучал по столу ни кулаком, ни стаканом. У него не было резких движений, производящих столь сильное впечатление на слабых и простаков. Он никогда не возвышал голоса. Но это напускное спокойствие в глазах всех было только лишним признаком холодной твердости бандита, проявляемой им в решительные моменты. И репутация Бебера становилась от этого лишь еще более грозной. Он всегда «работал» один. Никогда за ним не знали сообщников в момент злодеяния или же поверенных по его совершению. Польщенный моим буржуазным воспитанием, Бебер удостоил меня своей покровительственной дружбы. Он даже возвел ее ко временам, предшествовавшим моему рождению, так как в мои свободные дни, когда я навещал его в кабаčke, он встречал меня следующим лестным приветствием:

— Здравствуй, пьянчуга, сын пьянчути!

Что означало, примерно:

— Здравствуй, друг, сын друга!

Но его откровенность никогда не простиралась далее этого, и я принужден был удовлетворять свое любопытство сплетнями людей, окружавших его. Да и эти последние решались раскрывать рот лишь тогда, когда не было самого героя, когда Бебер, отправившись в какую-нибудь из своих периодических экскурсий, недели на две-на три, а то и долее, оставлял свое место пустым. Только тогда его почитательницы, чтобы скоротать часы отсутствия своего кумира, осмеливались обмениваться между собой замечаниями, неопределенность которых оставляла широкое поле фантазии:

— Кажется, у него «дело» где-то в центре страны.

Или:

— Говорят, что у него «работа» на Севере.

Но где бы он ни затевал свое предприятие, в центре или на Севере, Бебер всегда выходил сухим из воды. Неизменно, по истечении им самим назначенного срока, он возвращался с карманами, полными денег, а иногда даже немного потолстевшим. Он бывал щедр и праздновал свое возвращение, угощая всех пуншем, который присутствующие благоговейно пили маленькими глоточками, так как в уплату за него шли деньги, добытые преступлением.

И вот, как-то в одно из воскресений, когда я пришел на улицу Боливара, меня встретили следующей новостью:

— Бебер вернется не раньше, чем через месяц. Он уехал на Ривьеру ограбить банкира.

В этом кабаčke сомнительной репутации, ни один из посетителей которого никогда не обладал сберегательной книжкой, ограбление неведомого банкира приобретало особый отпечаток величия. И вот, в следующее воскресенье, когда я, размышляя о совершаемом в тот момент Бебером злодеянии, там далеко, на Ривьере, углубился в Веррьерский лес, моя прогулка привела меня к небольшому загородному ресторанчику. И каково было мое изу-

мление, когда под сенью беседок я увидел Бебера, бандита, героя, Дон-Жуана, Бебера-Забияку, который вместо того, чтобы грабить на Ривьере банкира, укрылся здесь, подобно Робинзону, в ливрее гарсона, с салфеткой под мышкой, рассыпаясь в хлопотах вокруг самых заурядных посетителей! Маска с него была сорвана! Он подошел ко мне, и я услышал его всхлипывающие отрывистые фразы, странную исповедь развенчанного героя:

— Пьянчуга, сын пьянчуги, — сказал он мне, — теперь ты знаешь все. . . Я не преступник, я никогда им не был, я никогда не буду им. . . Пусть вся вина этой зловещей комедии падет на них. . . женщин. . . Ты поймешь меня. . .

Пока они считали меня честным человеком, они не обращали никакого внимания на Бебера, честного труженика. . . Однажды, произведенный по ошибке арест дал повод думать, что я вор. . . Когда меня выпустили, они все ждали меня у ворот тюрьмы. . . И начиная с этого дня, они восторгались мною, любили меня. . . Отныне я был Бебером-Забиякой, и одна лишь мысль о моих злодеяниях зачаровывала их. . . Я предоставил им верить. . . Когда я исчезал, то лишь для того, чтобы где-нибудь в глуши честно заработать право по



Лью Коди.

возвращении нарядиться злодеем, подобно тому, как другие прельщают дорогими тряпками. Видишь ли, пьянчуга, женщины все одинаковы. . . Они презирают добро, так как оно слишком просто, и лишь одно зло своими ухищрениями привлекает их. . .

Правда ли, что многие, если не все, как утверждал это Бебер, бывают побеждены не физической красотой Дон-Жуана, а скорее, его нравственным безобразием? Пятнадцать лет спустя, на другом конце света, в стране кино, одно лишь слово кино-звезды пробудило во мне воспоминание о речах честного человека, стыдившегося своей честности.

Впрочем, с течением времени мое восхищение Дон-Жуаном и Милым Другом сменилось негодованием против тягостного закона логики, осуждающего мужчину, серьезно любящего женщину, постоянно плестись в хвосте за «тем, кто играет любовью», и «тем, кто извлекает из нее выгоду», непрестанно исправлять зло, причиненное этими двумя знаменитыми бездельниками, исцелять сердца, разбитые Дон-Жуаном, и выкупать из ломбарда серьги, заложенные

Милым Другом. В Лос-Анджелесе я подружился с человеком, достаточно мужественным для того, чтобы вступить в борьбу с донжуанством. Борьба эта не была лишь литературной, против какого-либо отвлеченного символа. Мой друг боролся за спасение женщины с самим воскресшим Дон-Жуаном. При всей условности современной американской цивилизации, побоище самцов в тени первобытных лесов не было более упорным, более свирепым, более жестоким и более коварным, чем этот нравственный поединок между «порядочным человеком» и Лью Коди, Дон-Жуаном экрана. Да, он был непобедимым соперником, этот бывший муж Дороти Дальтон, вечный жених кино-звезд, любовник всех актрис страны кино, соблазнитель инженеру и субреток, первых любовниц и кокеток, тот, против кого сама «женщина-вампир» не смела выпустить свои когти! Каким могуществом владеет он, чтобы возбуждать во всех них жажду разрушения, которая делает их его жертвами!

Жажда разрушения! Вот прозное влечение, более сильное, чем инстинкт самосохранения, более сильное, чем инстинкт воспроизведения рода, таинственное влечение, проявляющееся у женщины, обреченной Дон-Жуану, с первых же движений маленькой девочки: оно сказывается в том, как она обрывает лепестки у розы, в том, как она распарывает живот своей куклы, в том, как она тянет за уши собаку, в том, как она сажает на булавку бабочку или же разрывает муху. Ибо у Дон-Жуана есть свое стадо женщин, заранее отмеченных его клеймом. Жажда разрушения толкает их к нему. Разрушать во что бы то ни стало, хотя бы ценой своей собственной жизни! Жажда разрушения? Это то самое безумие, которое во тьме веков охватывало варваров, без седла и без узды, мчавшихся на своих конях, с факелами в руках захватывавших мир, низвергавших города, предававших огню храмы, истреблявших народы и учения, вплоть до того, пока, опьянев от всеобщего разрушения, сами разрушители, собрав все награбленное ими, не воздвигали костер и не всходили на него со своими женами и детьми, чтобы уничтожить самих себя вплоть до грядущих поколений. ...

Дон-Жуан, это — гордость, зависть, похоть, чревоугодие, лень и пневливость. Если он присоединит к этому еще и скупость, то станет воплощением семи смертных грехов.

Он пьет, он играет, он лжет; он лицемер и обманщик; он жесток к бедным; он дурной сын, он убийца. Я знаю за ним лишь одно достоинство: его храбрость перед живыми и мертвыми; но и это, в конце концов, лишь высшее оскорбление, бросаемое порядочным людям, и кощунственный плевок в лицо божества. Дон-Жуан, это — зверь Апокалипсиса. От него исходят все нити насилия, к нему стекаются все нити разрушения. Я легко могу себе представить, что воскресший Дон-Жуан занимает деньги с единственной целью не вернуть их. Надо думать, ныне он находит удовольствие в том, чтобы разорять своего поставщика автомобилей, как некогда он разорял господина Диманша, своего портного. Он

соблазняет женщину, прельщая ее злом. Правда, режиссеры, ставящие Дон-Жуана, делают уступку мировой совести и призывают в развязке Командора. Этот последний, в облике наивного боксера или не менее наивного сыщика, является наказать великого соблазнителя, как простого «злодея». Но Дон-Жуан издевается над этой парадоксальной развязкой. Он знает, что ему достаточно подождать при выходе дочерей своих высококонравственных зрителей, чтобы еще раз доказать самому себе, что, если в американских фильмах порядочный человек всегда бывает вознагражден, то в жизни женщина, являющаяся предметом домоганий, всегда в конце концов достается Дон-Жуану. И Дон-Жуан восторжествовал еще раз. Однажды вечером, человек, которого я уважал, возвратился домой, понурившись, тяжелыми шагами. Та, которую он любил и которую Лью Коди преследовал с единственной лишь целью украсить свой список еще одной жертвой, разбила его последние надежды. На фоне вечного калифорнийского лета инженеру сказала моему другу:

— My dear,¹ я все хорошенько обдумала. Правда, что у Дон-Жуана отвислые щеки пьяницы; его одолевает преждевременная тучность; пальцы его трясутся, так как руки его слишком часто держали карты; веки его красны от распутного образа жизни; он безобразен, и физически вы гораздо красивее его. Но на весах моего сердца он перетягивает. Его испорченность неотразимо привлекательна, а вы всего лишь честный человек.

ХІІІ.

ЭРЛ ВИЛЬЯМС ИЛИ МЕСТЬ ЖЕНЩИНЫ.

Профессия творца кумиров не лишена своих неприятных сторон, чему свидетелем режиссер Джемс Юнг. . . Этот последний, подобрал однажды у дверей своей студии жалкую статистку, одел ее, дал ей образование, женился на ней и выдвинул ее. Благодарность слишком тяжелое бремя для существ неразвитых. К тому же, выскочки обычно стремятся порвать с теми, кто может напомнить им об их недавнем унижении. Когда Клара Юнг сочла себя достаточно сильной, чтобы обойтись без великого жреца, она покинула своего мужа и режиссера.

Подобное приключение могло бы убить человека другой расы, в особенности, если ему перевалило за пятьдесят, как Джемсу Юнгу; но этот последний был чересчур настоящим янки и потому чересчур человеком действия, чтобы дать завладеть собой какому бы то ни было единственному стремлению — ревности и прочим сердечным тонкостям. Любовь — болезнь праздных, подобно тому,

¹ Дорогой мой.

как мочевая кислота — яд для ведущих сидячий образ жизни. Джемс Юнг определил положение следующими простыми словами: — Отныне под моей режиссурой будут работать лишь звезды-мужчины.

Он сдержал свое слово. Когда я познакомился с ним, он ставил фильм с участием Эрла Вильямса, звезды «Витаграфа».

Это происходило во дворе студии названной кино-компания. Я только-что вошел в поисках проблематического ангажемента, как вдруг маленький седеющий человечек, с нервными жестами и озабоченным взглядом, обратился ко мне:

— Мне сообщили, что вы француз, — сказал он мне. — Я начинаю сегодня съемку сценария из жизни Парижа с Монмартром, апа-шами и полицейскими! Не хотите ли играть роль полицейского сержанта? В то же время вы будете наблюдать за «атмосферой». Я хочу, чтобы и в декорациях, и в костюмах, и в жестах актеров она была французской.

Одновременно с тем, как укреплялось мое положение актера, работающего понеделно, я оказался произведенным на месяц в завидное звание технического помощника. Впрочем, странное впечатление должен был бы производить на нас, романцев, этот фильм, длиной в 1800 метров, в котором Эрл Вильямс под маской сострадательного Арсена Люпена проводит большую часть своего времени в том, что грабит богатых, чтобы содержать... приют для бедных детей! Внук м-сье Прюдомма, но сбитый с пути истинного Прудомом, м-сье Пикар (таково имя героя) предлагает американскому зрителю изрядную порцию психологии, годной для негров, романтически настроенных горничных и религиозных анархистов. Состояние, в основу которого легло воровство какого-то весьма отдаленного предка, на протяжении пяти частей подвергается экспроприации, мотивы которой преисполнены самых благих намерений. Характеристика разбойника-филантропа усложнена еще многочисленными мелодраматическими интригами: проститутка, возвращающаяся на путь истины, нелепый полицейский комиссар, светская девушка, столь же баснословно богатая, как и наивно безнравственная и, наконец, четыре бестолковых полицейских во главе с еще более бестолковым сержантом (его играл я) окончательно должны были внушить Америке довольно странное представление о Франции!

Легко себе представить затруднения технического помощника перед подобным сценарием. С первых же строчек я был поражен необычайностью тех событий, которые должны были разыграться пред взором объектива. Все же, вооружившись мужеством, я попытался придать хоть некоторую правдоподобность этому «фильму из парижской жизни» и возбудил этим великое неудовольствие заведующего бутафорией, костюмера, декоратора и прочих влиятельных лиц, ревниво относящихся к своему невежеству. Тем не менее, в наиболее существенном мне, быть-может, удалось бы

поставить на своем, если бы мне пришлось иметь дело только с Джемсом Юнгом, милым и образованным американцем, подлинным джентльменом экрана, подобно французу Сесилью де Миллю и австрийцу Эрику фон Штрогейму. Но на беду этого фильма и мою собственную, у Джемса Юнга работала в качестве режиссера одна из тех непоправимо ограниченных личностей, которые живут в постоянном страхе встретить кого-нибудь не столь безмозглого, как они сами. Вечная боязнь чьего бы то ни было превосходства принуждает их искать убежища в таком чудовищном самомнении, что они скорее сами обрекут себя на величайшие и при том совершенно бесплодные усилия, чем обратятся за советом, помощью или указанием к кому-либо из окружающих, более их компетентному. Но их глупость находит себе наказание уже в самых мучениях зависти. Режиссер — помощник Джемса Юнга — был из тех, которые готовы дуться на плотника, если он лучше их сумеет вбить гвоздь. Мои пять недель работы в качестве технического помощника, благодаря противодействию этого тупицы, не принесли никакой пользы для фильма и не доставили мне ни малейшего удовлетворения. Встретить на своем пути глупца, это еще полбеды; но жизнь становится совершенно невыносимой, если приходится пройти в его обществе некоторый этап.

Впрочем, не все ли равно, почему мне не удалось превратить квази-французский сценарий в фильм, который можно было бы показать во Франции! Да и были ли у меня основания добиваться этого? Лишь этот последний вопрос заслуживает некоторого внимания. . .

В том случае, если американский режиссер имеет в виду лишь американскую публику — а еще и поныне иностранные рынки дают заатлантическому предпринимателю лишь ничтожную долю его барышей! — ему нет особой нужды приноравливать фильм из французской жизни к французским обычаям! Даже более: коммерчески американский режиссер нередко будет заинтересован подавать своей американской публике героев-французов, французские нравы, психологию французов не такими, каковы они в действительности, но какими они представляются зрителям — американцам! Грустно делать подобное замечание, но то, что касается коммерческой стороны, почти всегда бывает печально. К тому же, здесь будет как нельзя более уместно возразить на нередко вполне обоснованные протесты французской публики, которой предприниматель-американец предлагает заснятые в Америке изуродованные переработки французских пьес и романов:

— Вы возмущаетесь искажениями, внесенными заатлантическим режиссером в произведения европейского происхождения? Но в состоянии ли вы себе представить, чем будет для американского зрителя американская пьеса или роман, переработанный и заснятый режиссером-романцем в студиях Венсенна или Эпинэ? Во что превратятся на французской ленте шериф с дальнего Запада, нью-

иоркский делец, девушка с Бродвея или семейный очаг в Филадельфии? . . . Но не будем больше останавливаться на этом и вернемся к нашему фильму. . .

В последний день съемки, при выходе из студии, Эрл Вильямс сказал мне с деланно непринужденной улыбкой:

— Приходите завтра взглянуть на меня в суде Лос-Анджелеса. Меня будут судить за «нарушение обещания жениться».

Судья, адвокаты, полицейские — весь несложный и вместе с тем столь грозный аппарат американского правосудия. Обвинительница — молодая женщина лет двадцати. Она была любовницей знаменитого артиста. Она прожила с ним несколько месяцев и клянется, что Эрл Вильямс обещал жениться на ней. Она полна энергии и спокойствия; она знает права, которые дает ей феминизм американцев, и требует 100000 долларов в возмещение убытков. Эта совсем еще молоденькая девушка, почти ребенок, заставила арестовать своего бывшего жениха и теперь обвиняет его с методичностью прокурора и предъявляет ему счета с пунктуальностью кассира. Поразительное превращение! В обстановке Северной Америки дух янки вобрал в себя женщину — испанку, француженку, итальянку, женщину Старого Света, — и в корне ее изменил. Эта девушка, стоящая передо мной, сделалась американкой лишь несколько лет тому назад. Овал ее лица напоминает мадонн венецианской школы. Она итальянка, романка, христианка; за одно лишь поколение до нее, ее бабушка, подобно всем женщинам своей расы, жила под властью деспотизма мужчины, была рабыней в силу обычаев, закона и религии, а также в силу потребности любить, делающей нашу слабую европейскую женщину добровольной служанкой самца, от которого она терпеливо ждет часто весьма призрачной жалости. И вот, достаточно переплыть через океан, чтобы это от природы скромное, слишком доверчивое и благородное существо, жертва, обреченная на жизненные невзгоды, превратилась в женщину-янки.

Эта последняя — прямая наследница горделивой реформации: она свободна от ига догматов и ига мужчины. Но чтобы понять ее, нам нужно углубиться еще далее, перенестись за двадцать веков и найти следы язычества у подножия небоскребов. Ее представление о жизни оптимистично. Она не знает любви, по меньшей мере той любви, которая неразлучна с жалостью, самопожертвованием, угрызениями совести, страданиями и прочими бесчисленными сложными переживаниями, любви, родившейся на мрачных берегах Тивериады. Женщине-янки в ее отношениях к мужчине известны лишь два момента. Во-первых, флирт — средство против скуки, времяпрепровождение, пригодное, чтобы заполнить несколько минут между двумя танцами или двумя партиями тенниса; лишенный какого бы то ни было трагизма обмен тех жестов, которым ни Марк-Аврелий, ни Эпикур не придавали ни малейшего значения.

И во-вторых, брак — коммерческий договор, обычно уважаемый, так как супруга-американка бывает верна наподобие честных негоциантов и неспособна обманывать мужа, который ее содержит. Значит ли это, что помимо флирта и брака американке совершенно неведома страсть, заставляющая забывать и время, и место, и самое себя? Американка не недоступна для сильных порывов; но когда она ощущает их, то, подобно язычнице, она хочет видеть в них нечто фатальное, возмездие божества. Она будет бороться с этим чувством, будет стыдиться его и, затаив свои мучения, свои слезы, свою ревность, свои порывы, она легко может ввести кого угодно в обман под личиной своего античного бесстрастия, подобно мальчику-спартанцу, улыбавшемуся в то время, как украденная им лисица пожирала его внутренности.

Стараниями феминизма, зародившегося из неопаганизма, выработалось беспрецедентное в истории человечества законодательство, регулирующее взаимоотношения между полами. В Соединенных Штатах каждый поступок тотчас же переводится на язык возмещения убытков женщине. Существует не один лишь закон «о нарушении обещания жениться». Кроме него, есть еще закон о «соблазнительстве», грозный для посягателей на супружескую спальню. Есть также закон «о браке обычного права», который может заставить какого-либо неблагоразумного мужчину узаконить посредством брака свои похождения одной лишь ночи. Есть еще закон «об уважении», который безжалостно осуждает дурно воспитанного или просто чересчур предприимчивого мужчину, обращающегося к женщине помимо ее желания. Есть «закон об алиментах», который бросает в тюрьму разведенного мужа за один час промедления в уплате содержания своей бывшей жене. Есть «закон о белых рабынях», наказывающий каторжными работами того, кто перевозит женщину из одного штата в другой с единственной целью объясниться в более удобной обстановке. Есть еще сотня других феминистских законов, угрожающих янки-мужчине, вынуждающих его жить в непрестанной орфической атмосфере, при чем вокруг него веет тень великого женоненавистника, жертвы вакханок.

Но кто осмелится порицать феминизм янки, даже в его крайностях? Впервые сделав женщину существом привилегированным в области морали, религии, законов и светских приличий, феминизм лишь обратил против самца, вечного палача, его же оружие. Велики те счета, которые должны быть сведены с мужчинами, так как женщина неизменно являлась их жертвой на протяжении всей эпохи сантиментального людоедства, каковой является мировая история взаимоотношений между полами!

Суд удалился на совещание. Вернувшись, он возвестил, что Эрл Вильямс, кино-светило «Витаграфа», приговорен к штрафу в 75000 долларов в возмещение убытков девушке, которую он обманул лживыми обещаниями.

XIV.

ЭСТРЕЛЛА ИЛИ ПАРАДОКС КИНО.

Его звали Том Браун. Он был кино-оператором, работавшим под руководством Сесилия де Милля. Ее звали Эстрелла, и она принадлежала к одной из тех калифорнийских семей, родословная которых восходит к похищению конквистадорами дочерей кациков. Том уже год безрезультатно ухаживал за ней, когда при известии, что кино-оператор должен «заснять» картину на берегах Колорадо и что, таким образом, может быть совершено свадебное путешествие в подлинную страну индейцев, Эстрелла согласилась, наконец, стать миссис Браун. За час до отъезда нашего автомобильного каравана пастор благословил молодую чету в самой студии Ласки. Присутствие новобрачных поднимало настроение труппы, восхищенной пятинедельным пикником среди настоящих краснокожих. И чтобы умерить пыл разыгравшегося воображения артистов, потребовались расхолаживающие слова костюмера:

— Вы знаете, дети мои, я везу с собой перья, мокассыны и разные побрякушки, чтобы нарядить статистов-апачей, которые, наверняка, явятся в клетчатых кепи и крахмальных воротничках. В Соединенных Штатах нет больше «дикарей». Сиуксы на берегах Миссури, превратившись в культурных фермеров, пользуются всеми тайнами интенсивного землепользования; последние семинолы Флориды служат мэтрд'отелями во дворцах Пальм-Бича. Что же касается осахов, то после открытия нефти на принадлежащей им территории в Оклахоме, они все поголовно превратились в миллионеров; на месте своих прежних вигвамов они воздвигли Осахе-Сити, самый быстрорастущий город Северной Америки; они сами управляют своими сорокасильными автомобилями и нанимают к своим детям кормилиц-англичанок. Что же касается экзотизма, то краснокожие готовят вам одни лишь разочарования!

Действительно, на первых же порах нас постигло разочарование, когда после двух дней пути по невозможным дорогам наши автомобили достигли места свидания, назначенного комиссаром территории апачей. Как признать в лице этих культурных джентльменов сыновей тех трехсот последних охотников за скальпами, которые, укрывшись в Скалистых горах Аризоны, целых десять лет отбивали натиск всех регулярных войск Соединенных Штатов? В бархатных костюмах, ботинках и фетровых шляпах, наши два десятка «дикарей» ничем не выделялись бы среди барышников на ярмарке в Лимузене. Пока мы завязывали знакомство с индейцами, предлагая им сигары, тотчас же ими закуренные, чиновник, доставивший нам краснокожих, прощался с нашим режиссером.

— Я доверяю вам этих людей на месяц. Вы будете кормить их и, сверх того, платить каждому по пяти долларов в сутки. В случае недоразумений с кем-либо из них, обратитесь к Херонимо, их

вождю. Это — джентльмен, хотя он и приходится внуком свирепому воину, последнему кацiku апачей, тому самому, которого сорок лет тому назад Теодор Рузвельт, бывший в то время генерал-губернатором пограничной полосы, принужден был удушить в одной из пещер этих гор при помощи дыма. . . Я не думаю, чтобы можно было опасаться какого-либо инцидента. . . Но не забывайте, что мексиканская граница всего лишь в нескольких часах пути отсюда и что с того берега Рио - Колорадо сообщают о скоплениях кочующих яки, постоянно восстающих против правительства Мексики.

Сесиль де Милль улыбнулся. Каких выходов мог он страшиться от этих безнадежно цивилизованных апачей, которых, во что бы то ни стало, необходимо было привести в дикое состояние их предков, прежде чем приступить к съемке. Наши краснокожие употребляли зубные щетки, спали на походных кроватях, играли в теннис и безукоризненно говорили по-английски. Что же касается вождя их, Херонимо, окончившего среднюю школу в Тэсконе, то только от него самого зависело стать адвокатом, доктором или дельцом; лишь привязанность к остаткам своего племени побудила его предпочесть возвращение на охотничьи земли индийской территории — независимому положению среди белых. Это был высокий молодой человек лет двадцати, одаренный редкой красотой, унаследованной им от матери, в жилах которой текла кровь ацтеков, благороднейшего из всех индейских племен.

В первый же вечер миссис Браун устроила у своего костра прием в честь Херонимо и его людей. Они явились в костюмах, привезенных нашим костюмером. Редкое зрелище представляли собой их бесстрастные лица со лбами, опоясанными диадемами из перьев, по моде их отцов; пламя костра бросало гигантские тени на полотнища палаток; вождь апачей пел, аккомпанируя себе на банджо, и гортанные голоса хором подхватывали старинную индейскую песнь: «О, мой возлюбленный, позволь мне назвать тебя сыном!»

Какое более нежное имя можно дать человеку, которого любишь?

На другой день, во время съемки краснокожие держали себя как нельзя лучше. Приходилось дивиться при виде того, как они ползают, скачут, стреляют, мечут копыя и томагауки и исполняют священные танцы своих предков. Профиль Херонимо поддавался «крупному плану», красноречиво говоря о покорности вымирающего племени и об этнической тайне древнейших из рас, цивилизация которой населила Атлантиду и была поглощена вместе с этим сказочным материком.

Никогда Сесиль де Милль не встречал подобных статистов. Оператор же, напротив, выглядел не столь довольным, когда в первое же воскресенье жена попросила его:

— Отпусти меня вместе с вождем на левый берег реки.

Том Браун не посмел отказать, по своей гордости белого. Девушку-янки нельзя заподозрить в склонности к цветному мужчине!

Когда Эстрелла вернулась, покрасневшая от впечатлений этой прогулки, она сообщила:

— Мы встретили двух посланцев яки. У них было поручение к Херонимо. Их племя все еще ведет там свой старинный образ жизни, подчиняясь воинственным кацикам.

Вечером наши апачи развели на краю плато большие костры, и казалось, что им отвечали другие — со стороны мексиканской границы.

В то время, как кокетка, инженю, субретка и все прочие женщины труппы уже жаловались на пребывание в этой тревожной обстановке, миссис Браун смело смотрела в лицо всем силам природы. Тропическая ночь, все звуки которой, казалось, стали для нее привычны, была ей нипочем. Она не вздрагивала ни от крика койота, ни от прикосновения крыла гигантской летучей мыши-вампира. Ежедневно она отправлялась одна или в обществе апачей на другой берег реки. Вскоре мы могли с изумлением видеть, как она возвращалась босиком, не чувствительная ни к колючкам кактуса, ни к острым камням. На упреки мужа она отвечала:

— Ты забываешь, что в моих жилах течет кровь ацтеков!

Она забавляется игрой в «дикарей», — думали мы сначала. Но не играли ли в дикарей также и люди Херонимо, не расстававшиеся больше даже и в праздники с оружием и костюмами, которые они еще так недавно со смехом вытаскивали из ящичков костюмера?

Не прошло и трех недель, как миссис Браун, по обычаю краснокожих, уже населила палатку кино-оператора различными животными: прежде всего появился тукан с огромным желтым клювом, затем большая зеленая ящерица, постоянно охотившаяся за москитами; далее, зверинец был пополнен собакой с торчащей колючей шерстью и волчьими ушами, которая скалила зубы, обнюхивая мужа своей госпожи. То, что кочевники-яки подарили этой белой одну из своих охотничьих собак, составляющих богатство племен Соноры, являлось весьма тревожным признаком.

Подозревал ли Том Браун, что затевается какое-то дело и что его жена участвует в заговоре? Но кому бы он мог доверить свои мучительные подозрения? И кто бы из нас мог поверить, что белая девушка, по национальности — американка, по религии — католичка, соприкоснувшись со страной индейцев, может вновь обратиться в дикарку, несмотря на полученное ею воспитание и вопреки трем векам испанской и англо-саксонской культуры?

И вот в одну душную ночь, когда, покинув свою палатку, я искал прохлады у реки, мне показалось, что я вижу на противоположном берегу силуэт женщины, странным образом похожей на Эстреллу и танцующей в кружке индейцев священный танец луны. . . Развязка

не заставила себя долго ждать. Херонимо и его людям оставалось доиграть всего лишь один день, прежде чем вернуться на свою территорию, когда утром мы проснулись от едкого дыма пожара, пожирившего лагерь цивилизованных краснокожих с их непромокаемыми палатками, походными кроватями, зубными щетками и теннисными ракетками. Прежде чем перейти границу и присоединиться к яки, все еще свободным от власти белых, наши статисты побросали в огонь одежду, в которой они явились со своей территории: бархатные брюки, ботинки, мягкие шляпы; но взамен того они позаботились захватить с собой одеяния нашего костюмера: мокассы, побрякушки, перья и кожаные рубахи своих предков. Кроме того, они увели с собой также Эстреллу.

Когда явился правительственный комиссар, чтобы забрать обратно отряд своих краснокожих, возникла новая неприятность. Сесиль де Милль был ответствен за исчезновение статистов перед департаментом по делам индейцев. Пришлось посылать в Вашингтон бесчисленное множество бумаг. Кинематографическое общество Лос-Анджелеса присоединило к ним петицию, прося президента послать полк кавалерии для того, чтобы нагнать апачей и освободить исчезнувшую вместе с ними американку. Но у правительства были другие заботы, и не было желания рисковать дипломатическими осложнениями с Мексикой, нарушая неприкосновенность границы, хотя бы и под предлогом освобождения белой, похищенной краснокожими. Петиция употребляла слово «похищение», хотя все члены нашей труппы, начиная с самого Тома Брауна, поняли, наконец, что Эстрелла ушла вполне добровольно вслед за нашими статистами, также жертвами парадокса кино, чтобы вновь зажить дикой жизнью своего племени, законам которого молодая женщина подчинилась в силу чудовищного атавизма, по прошествии четырех веков пробудившегося в ее крови.

XV.

ПОЛИНА ФРЕДЕРИК ИЛИ ДОСТОИНСТВО КИНО-АРТИСТА.

В наши дни одна лишь труппа Полины Фредерик умеет еще путешествовать с помпой. У дверей специального поезда, который должен доставить нас из Лос-Анджелоса в Сан-Франциско, толпятся родственники, друзья и почитатели. Можно подумать, что мы отправляемся на другой конец света, чтобы заснять приключения, из которых ни один из нас не вернется живым. Толпе нравится думать, что труппа кино-артистов постоянно подвергается опасностям, и директора ее в этом не разубеждают, — это способствует лишь большей их популярности. Тем не менее, наш сценарий не давал решительно никакого повода для каких бы то ни было волнений. В нем не было ни похищения, ни кораблекрушения, ни

пожара, ни лошадиных скачек, ни автомобильных гонок, ни даже бокса. Всего на-всего лишь мирная, спокойная история, которую предстояло заснять среди исполинских деревьев на берегу Францисканского залива, по глади которого среди дымящихся океанских пароходов время от времени проскальзывал призрак Дальнего Востока, явившийся сюда под парусом азиатской джонки.

На перроне, в первом ряду провожающих, Мэмзи и Лью Коди. Мэмзи, это — мать Полины Фредерик, а Лью Коди — ее жених. Матери и женихи неизменно играют большую роль в жизни знаменитых артисток страны кино; но в то время как матери создают славу звезд, женихи весьма часто ее разрушают. Матери готовят подписание царственных контрактов, гонорар по которым промотают впоследствии женихи. Матери, это — разум, а женихи — чувство. Матери ненавидят женихов и женихи воздают им тем же. Нет никакого сомнения, что Мэмзи ненавидела Лью Коди, самого опасного из всех женихов, так как он был самым обольстительным, Дон-Жуаном экрана, выступавшим в качестве пьяницы, игрока, лгуна, повесы и богохульника и при всем том превосходного актера.

Полина Фредерик была замужем уже четыре раза, и если Мэмзи не в состоянии защитить ее от пятой сердечной катастрофы, подготавливаемой Лью Коди, то, по меньшей мере, она терпеливо ждет того неизбежного часа, когда, она, восторжествовав наконец, будет утешать свою покинутую дочь. Мэмзи заслуживает того, чтобы занять место в галлее знаменитых матерей, между миссис Пикфорд и миссис Толмэдж. Их пример воскрешает в стране кино великие традиции матриархата, этого доисторического феминистского установления, дававшего женщине власть над племенем в те гиперборейские времена, когда валькирии водили в битву мужчин, пифии наставляли их, а друидессы служили посредницами между ними и божеством.

Коробки шоколада, корзинки фруктов, букеты цветов, колеблющиеся в воздухе носовые платки. Наконец, мы трогаемся. Впереди у меня целый день путешествия, чтобы познакомиться с трупной. Начать с героини, в лице Полины Фредерик? С первой же встречи она кажется мне доброй, деликатной и простой в обращении; она как будто непрестанно стыдится своих 100000 долларов, так легко ежегодно зарабатываемых ею; она как бы просит извинить ее за ее финансовые успехи и любит играть роль вечной жертвы мужчин, как в кино, так и в жизни, что позволит ей после разрыва с Лью Коди предложить судьбе свое несчастье в любви в искупление своей удачи в делах. Герой? Мильтон Силльс. Он англичанин, бывший воспитанник Оксфорда. Он очень умен и не слишком восхищается немим искусством, которому он, тем не менее, обязан возможностью вести привольную и праздную жизнь, посвящаемую им курению трубки и чтению Эсхила в подлиннике. Он очень приличен. Благородный отец далеко не

так порядочен. В самом начале путешествия он вовлекает меня в партию покера, в течение которой с помощью крапленых, как я подозреваю, карт он похищает у меня мой заработок за первую неделю. Комик (Вальтер Хайерс, второе издание Фатти, но тоньше и остроумнее первого) пытается рассеять мои порожденные проигрышем заботы; он направляет мои мысли к Фриско, расхваливая его кабаре, которые посетители покидают лишь в пять часов утра, чтобы провести остаток ночи в китайском городе вместе с хористками. Но так как в области чувства я ищу большей утонченности, то пытаюсь пробудить в своей соседке, субретке, хоть какое-нибудь любопытство к общению душ. Увы! Единственные слова, которые мне удалось вызвать из уст этого красивого ребенка, были:

— My dear, мне дали адрес новой модистки в Фриско, у которой есть шляпки, отделанные японскими корнишонами! Это, должно-быть, великолепно!

Было от чего притти в отчаяние! К тому же, становится уже поздно. Героиня продолжает грезить о Дон-Жуане. Герой беседует по-гречески с богами Олимпа. Благородный отец ищет новой жертвы для своего покера. Комик храпит. Субретка погрузилась в журнал мод. Я одинок.

И одиночество мое среди всей остальной труппы стало еще очевиднее по водворении нашем в отеле Беверли. Социальные инстинкты никогда не были у меня особенно развиты, и меня почти не тяготит блуждать без спутника по дебрям жизни. Но на этот раз дело касалось известного профессионального объединения, из которого я положительно был исключен. Ежедневно, после пяти часов вечера, по окончании съемки, все актеры, мужчины и женщины, собирались у комика, откуда доносилась какая-то мерная речь вплоть до обеденного колокола. Что такое могло происходить там, наверху, в комнате соперника Фатти, в самом верхнем этаже гостиницы, над верхушками сосен? Я был заинтересован и оскорблен остракизмом, которому меня подвергали. Обязан ли я ему своей национальностью или тому, что я вступил в труппу последним? Я пытался найти объяснение. Чорт побери, среди этих людей, я, кажется, человек нормальный, здоровый, порядочный! Я больше не сомневался: они прячутся от меня для того, чтобы предаваться одному из тех ужасных пороков, которые служат отводным клапаном слишком суровому пуританству. Все они там наверху, без сомнения, перепились виски, нанюхались кокаина и, кто знает, может-быть, даже накурились опиума!

Ну, конечно, тут дело не без опиума!... «Двойник» Фатти, несомненно, приносил его из своих экспедиций в китайский квартал!... Придя к этому заключению, я, заранее уверенный в том, какого рода зрелище меня ожидает, смело поднимаюсь к комнате оргий, не постучавшись, резким движением отворяю дверь и застаю всю труппу... за чтением библии.

— Садитесь, дорогой мой, — любезно сказала мне Полина Фредерик. — Мы не приглашали вас на наши маленькие собрания, так как вы католик, а мы все здесь протестанты.

И благородный отец набожным тоном возобновил прерванное моим приходом чтение. А вокруг моего сомнительного партнера в покер сидели, благочестиво внимая, все остальные артисты. Какую набожность проявлял каждый из них! Героиня — вопреки своему культу Дон-Жуана, символа зла и разрушения; герой — вопреки своему языческому восхищению ученого безнравственными божествами Олимпа; субретка — вопреки своему исключительному интересу к шляпам, отделанным японскими корнишонами; комик — вопреки своим похождениям мандарина в китайском городе. . . Искреннее ли это раскаяние или искусное лицемерие? Поневоле вспомнишь о Тартюфе, стыдливом грешнике, не по заслугам оклеветанном, который, не будучи в состоянии побороть в себе грех, по меньшей мере пытался, затаив его, не вводить в искушение других. Рождается ли пуританство янки из подобной же потребности моральной профилактики или же оно так же относится к добродетели, как «блэф» к серьезным делам; или же, наконец, оно обязано своим происхождением одному лишь страху перед сыщиком? Я не считаю его от этого менее достойным уважения, если оно может внушить толпе кино-грешников такую заботу о своем внешнем достоинстве, благодаря которой в стране кино героини и комики, субретки и благородные отцы, несмотря ни на что, остаются лэди и джентльменами.

В течение моего пребывания в Америке мне много раз приходилось наблюдать, как эта же забота о благопристойности царит за кулисами театра или экрана! В Новом Свете свободное сожителство артистов узаконено; такие пары гордятся своим упроченным положением, посещают по воскресеньям церковь и воспитывают своих детей в строгих правилах. Какой контраст с нашей артистической средой, с ее духом богемы, ее легкими связями, ее низкой профессиональной завистью, ее стремлением к скандальной славе! Не легко было бы встретить во Франции величественные династии, подобные Барриморам (Этель, Джон и Лайонель), достоинством своей частной жизни внушающим всей нации уважение к театру, кино и их представителям. Возразят, быть-может, что все это пуританство часто не более, как вуаль, сброшенная на их частную жизнь, столь же беспутную, как и жизнь наших кокеток и первых любовников! Возможно. Но среди американских актеров распущенность нравов неизменно стремится сохранить свою тайну, и если какой-нибудь случай ее обнаружит, у них хватает ума тотчас же прибегнуть к какой-нибудь приличной формуле, выдать любовника за жениха или прикрыть адюльтер немедленным разводом.

Надо, впрочем, отдать американцам справедливость, упомянув, что в Соединенных Штатах достоинство артиста поощряется зара-

ботками, обеспечивающими приличный образ жизни всем работникам сцены и экрана, не исключая второстепенных и даже статистов. В американских театрах инженерю, выходя на сцену, не должна искать глазами среди зрителей какого-нибудь старичка, который заплатит за ее туалеты.

По окончании спектакля в мюзик-холле хористки могут спокойно возвращаться домой и не вынуждены из-за скудости своего жалованья идти на улицу, как большая часть статисток наших «обозрений». По ту сторону океана герой, хорошо оплачиваемый, далек от искушения после спектакля разыгрывать возле содержанок роль Милого Друга. Этому завидному материальному положению американского актера соответствует его нормальное положение в обществе, еще более упрочивающее достоинство профессии артиста. Если американский народ не вполне свободен от предрассудков, то, по меньшей мере, он не позорит себя кастовой замкнутостью, так часто создающей у нас парию из артиста. Если во Франции какой-нибудь аристократ взойдет на подмостки или же станет позировать перед объективом, его семья тотчас же отречется от него, его друзья отвергнут его, его класс изгонит его. Американский плутократ рад выдать дочь за первого комика, а снобизм «Четырехсот» не будет скандализирован, если кто-нибудь из них сочетается законным браком с субреткой, выступающей в модной пьесе.

Это пренебрежение правящих классов Старого Света тяготеет над актерами также и за кулисами и при том в еще худшей форме. Сплошь и рядом всякий причастный к администрации театра или кино-студии питает к актеру глубокое презрение. После того, как можете вы требовать, чтобы благородный отец оставался благородным? А этот дядюшка из обозрения, придет ли ему в голову уважать самого себя, если он заранее опорочен не только в глазах зрителей, но и своих хозяев? Это о мужчинах! А женщины? Бедные маленькие подружки, прежде чем получить роль и сохранить ее за собой, сколько раз вам приходится отбывать феодальную повинность у главного секретаря, в кабинете директора, в холостой квартире автора и, наконец, в своей собственной уборной, взятой приступом режиссером. . . Ваше счастье, если в день генеральной репетиции не явится потребовать своей доли и театральный пожарный!

Но вернемся к труппе Полины Фредерик, благочестиво читающей библию. . .

Я не мог не улыбнуться неожиданному контрасту. Я предпочел усмотреть в нем урок благоразумия, память о котором к тому же вскоре спасла мою свободу. . .

С той же помпой, с какой был обставлен наш отъезд из Лос-Анджелеса, мы были встречены и в Сан-Франциско. Отель Беверли стал местом свиданий всех жаждущих видеть и слышать знаменитость и ее окружающих. Полина Фредерик была достаточно

умна, чтобы избегать этих публичных триумфов. Прочие артисты, пресыщенные долгими годами своего ремесла, следовали ее примеру и, выпив свое кофе, тотчас же удалялись из столовой.

Не осуждайте бедного актера, ведущего себя, как профессиональный хвастунишка! Впервые я видел себя центром всеобщего внимания. Я был опьянен. Я принимал почести женского лобопытства, которое, за отсутствием героя, благородного отца или комика, коварно ускользавших, обращалось на злодея труппы.

От имени седьмого искусства я подписывал свои фотографии, раздавал автографы, импровизировал изречения, якобы глубокомысленные, а на самом деле всего лишь туманные, говорил о Мэри Пикфорд, Полине Фредерик, Чаплине, а в особенности о самом себе. Я давал уроки грима, получал букеты и вышитые носовые платки, председательствовал на банкете в честь кино и, наконец, позволил наградить себя званием почетного попечителя женской гимназии. Когда труппа покинула Беверли, это было для меня спасением: я начинал ненавидеть самого себя.

Вернувшись в Лос-Анджелес, я к своему величайшему удивлению убедился, что фимиам славы все еще восходил ко мне из Сан-Франциско. Моя школа регулярно писала мне. Я счел своим долгом отвечать ей. Пока переписка оставалась коллективной, она не представляла никакой опасности. Но наскучив анонимностью, одна из учениц начала посылать мне письма от своего собственного имени. Ее звали Пегги; она сознавалась, что ей четырнадцать лет и что она восхищается мной и кино; восхищение это оказалось столь пылким, что в одно прекрасное утро я был разбужен тоненьким голоском, кричавшим мне через дверь:

— Здравствуйте! Это ваша приятельница Пегги! Я приехала из Фриско, чтобы вы достали мне роль!

Никогда сам Фреголи не совершал своих трюков с большей молниеносностью! Через сорок секунд я был одет. Не прошло и минуты, как Пегги, грубо вытащенная мною на улицу, уже была доставлена в ближайший полицейский участок, где я сдал ее на руки общественной власти. Я вздохнул свободно только при известии о том, что шериф самолично тотчас же отвезет опасную путешественницу ее семье. Уважение к пуританству и боязнь его репрессий побудили меня на это безжалостное решение.

Я уже видел себя жертвой всех законов американского феминизма. Я думал:

«Все обстоятельства против меня. Я посылал ей открытки и дал свою фотографическую карточку с собственноручным посвящением. Полиция обвинит меня в том, что я заставил эту несчастную малютку покинуть материнскую кровлю и заманил ее киномиражем на другой конец Калифорнии».

Благодаря своему хладнокровию, я избежал участи великого комика, вынужденного жениться на «маленькой статистке». Я избежал, быть-может, появления перед судьями и приговора,

который принудил бы меня, подобно Эрлу Вильямсу, к разорительному возмещению убытков за «нарушение обещания жениться». Каких только опасностей не избежал я! Ведь закон об «уважении к женщине», грозный «закон о белых рабынях» и расстояние, отделяющее Лос-Анжелос от Сан-Франциско, позволяли бы пуританскому суду отправить меня на два года на каторгу! Несмотря на всю мою невинность, достаточно было хоть малейшего колебания, и я писал бы эти воспоминания в нездоровом сумраке тюрьмы.

XVI.

ЭРИК ФОН ШТРОГЕЙМ ИЛИ БОГАТАЯ НЕВЕСТА.

Когда барону фон Штрогейму, владельцу замка Кронберг в Нижней Австрии, исполнился двадцать один год, баронесса, его мать, созвала семейный совет. Успехи демократии окончательно стерли позолоту с герба фон Штрогеймов. Башни замка также требовали немедленного ремонта.

Было постановлено отправить Эрика в Америку в поиски за богатой невестой, заранее обеспеченной каждому родовитому и недурному собой барону, высаживающемуся в стране небоскребов, миллиардеров и их дочерей. Каждый из членов семейного совета почел за честь для себя принять участие в приготовлениях к этой экспедиции. Вдовствующая баронесса ассигновала из своих личных сумм 15 000 крон, необходимых, чтобы с честью поддержать имя жениха. Генерал маркграф фон Пильзен, дядя Эрика, дал своему племяннику рекомендательное письмо к одному американскому полковнику, который на больших маневрах на границе Молдавии представлял в штабе Франца-Иосифа наемную и демократическую армию Соединенных Штатов. Крестная молодого барона, фрейлейн Шульц, старая дева, жившая в окрестностях замка, снабдила своего крестника полным гардеробом. И наконец, господин Шварц, фамильный нотариус, наставил его мудрыми советами и рекомендовал остерегаться «охотниц за титулом, которые сами без гроша и у которых нет ничего, кроме внешности».

Гостеприимство американцев руководствуется правилом считать каждого прибывшего к ним европейца великим человеком до тех пор, пока он не докажет противного. Чересчур далеко заходящая вежливость, баюкающая опасными иллюзиями многих из вновь прибывающих! Едва пароход, везший на себе Эрика, показался перед статуей Свободы, как барон уже увидел себя осажденным десятком репортеров, катер которых выехал к нему навстречу при входе в Гудсонов залив. В ближайшее воскресенье молодой человек мог созерцать в журналах свой портрет, сопровождаемый самыми сенсационными интервью. Род фон Штрогеймов был назван

в них знатнейшим из всех дворянских родов Австрии. Ряд самых лестных эпизодов был приведен из прошлого молодого барона. Восторженные перья журналистов доходили даже до того, что приписывали Эрику замечательные проекты, самыми скромными из которых были охота на медведей в Скалистых горах и экспедиция в неведомые земли Аляски.

Первое письмо Эрика, к которому были приложены номера журналов, было получено в замке Кронберг со слезами умиления.



Эрик фон-Штрогейм.

Молодой барон описывал в нем Нью-Йорк, прием, оказанный ему печатью, иллюминацию Бродвея, конторы нижних кварталов, дворцы верхней части города, подземный трамвай, толпу на Пятом авеню.

Когда несколько охладился его первый энтузиазм, барон отправился на розыски знаменитого полковника, к которому он привез послание от своего дяди, начинавшееся словами:

— Мой дорогой коллега!..

Эрик нашел «дорогого коллегу» на третьем этаже небоскреба, где бывший полковник, превратившийся в мирного обывателя, в одном жилете, окруженный тремя стенографистками и пятью телефонами, деятельно работал над организацией нового треста по производству папье-маше, который должен был

произвести переворот в строительном искусстве и предотвратить жилищный кризис. «Дорогой коллега» уже почти совсем забыл о больших маневрах на границе Молдавии. Он отделался от Эрика, пригласив его отобедать с ним с глазу на глаз на другой день.

На этом закончились те знакомства, на которые рассчитывал Эрик, чтобы проникнуть в общество миллиардеров и их дочерей. Хотя салоны «Четырехсот» и не так строго замкнуты, как высшее общество Вены, все же доступ в них не очень-то легок для вновь прибывшего европейца, будь он даже столь родовит и элегантен, как Эрик фон Штрогейм. Но разочарования последнего на этом не кончились. Во время своих прогулок по городу барон вскоре заметил, что он не единственный титулованный иностранец в Америке. Он встретил нескольких собратьев, которые далеко

не занимали положения, соответствовавшего славе их предков. Эрик как-то имел случай убедиться, что в лице скромного банковского служащего он имеет дело с итальянским князем. Французский граф скрывался под ливреей отельного швейцара. Бывший лорд мыл посуду на кухне одного ресторана.

Эрику пришлось прождать два месяца, прежде чем ему удалось проникнуть в один из тех домов на Пятом авеню, где, миллиардеры, в воображении профанов, ведут неслыханно роскошный образ жизни, исполненный непрерывных наслаждений. Однажды вечером, допущенный к столу угольного короля, Эрик с удивлением увидел, что ему подают обед, гораздо более скромный, нежели обычно подавался в Кронберге. Прислуживал всего лишь один единственный лакей. Проглотив свою чашку кофе, миллиардер тотчас же удалился, оставив барона наедине с наследницей одного из колоссальнейших трестов на свете. Это была маленькая, беспрерывно подпрыгивавшая особа; казалось, что после каждой фразы она делает па кэк-уока. Впрочем, их беседа от этого не была для Эрика менее поучительной. Он внезапно узнал, что обычай давать приданое еще не вошел в нравы американцев, что мужчина-янки считает за честь для себя содержать свой домашний очаг и что даже женихи маленьких миллиардеров не исключены из общего правила: самому добывать себе состояние.

— Я знаю, — объявила ему подпрыгивающая девица, — что некоторые девушки выходят замуж ради титула. Чаще всего этим дурочкам приходится оплачивать картежные долги своих знатных мужей, а то и счета их любовниц! Мой отец постоянно работал, мой брат также работает. У меня есть жених, которого зовут Боб; он начал с должности грума в нашем тресте. Ему теперь двадцать три года. Он «стоит» уже три миллиона долларов; когда у него будет пять, я выйду за него замуж!

Эрик пришел в ужас, что самому подлинному, ничего не делающему джентльмену могут предпочесть разбогатевшего грума. Когда были получены письма из Кронберга, осведомлявшие, сколько партий ему уже представилось, Эрик, раздраженный, возможно долее медлил с ответом. Он подумал, что, быть-может, в другом месте он будет более счастлив в своих матримониальных попытках. Он покинул Нью-Йорк, отправился в Чикаго, затем в Денвер. Повсюду та же неудача. Он проехал в Сан-Франциско и, в конце-концов, остановился на Лос-Анджелесе.

В эту эпоху кино еще только зарождалось. Его адепты ели мечтателями. Тем не менее, случайная встреча в отеле толкнула разочарованного барона на новый путь.

Ее звали Пегги Кросли. Это была высокая стройная белокурая девушка с непринужденной походкой.

— Ах, у вас есть титул! — с первых же слов воскликнула Пегги. — Я всегда мечтала быть баронессой. Я знаю, что это прихоть, но я достаточно богата, чтобы позволять себе кое-какие

прихоти. У моего отца есть золотые прииски, и кроме того, несколько нефтяных фонтанов в Луизиане. Вместе со мной у вас будет хороший автомобиль, свой дом на лучшей улице Лос-Анджелеса, своя вилла в Пасадене. Пишите мне в отель «Александрия», но не вздумайте телефонировать: я ненавижу телефоны!

В дальнейшем роман развивался так, как только мог мечтать об этом барон. Через три дня Пегги уже фамильярно хлопала его по плечу, окликая его:

— Добрый день, Эрик!

На следующей неделе американка, позволив себя поцеловать, вопрошала с очаровательной гримаской:

— My dear, вы любите мои миллионы или же мою маленькую особу?

Барон воскликнул:

— Я готов хоть сейчас же жениться на вас, даже если бы я знал, что ваши золотые прииски стали жертвою краха, а вашим нефтяным фонтанам угрожает внезапно разверзшаяся бездна.

Чем рисковал он, говоря это богатой наследнице, жившей в роскошнейшем отеле города и беспрестанно повторявшей:

— Со мной вы будете миллионером, my dear!

Тем временем, угощая свою невесту в лучших ресторанах Сан-Диего и Пасадены, барон истощил свое «военное снаряжение». Не осмеливаясь вновь обратиться за деньгами в Кронберг, Эрик торопился с отъездом в Луизиану, где он будет представлен семье Пегги и где будет сыграна свадьба. Приближалось лето, а молодая девушка утверждала, что она хочет стать баронессой лишь зимой, когда оживляется светская жизнь большого порта на Миссисиппи. Американка удивлялась нетерпению, проявляемому ее женихом, хотя ему представлялась, в виде аванса, полная свобода флирта.

— Сказать по правде, — должен был сознаться молодой человек, — у меня нет больше ни доллара, а вы сами хорошо понимаете, что пока я не стал вашим мужем, я не могу принять от вас ни сента.

— Правда, это было бы shocking, — ответила Пегги, — но я могу помочь вам дождаться зимы. Сейчас затевается одно новое великолепное дело...

И молодая девушка принялась объяснять барону, в чем заключалось это столь богатое обещаниями «дело».

Пионеры экрана, Гриффитс, Ласки, Сесиль де Миль и несколько других, только что обосновались в Холливуде в весьма скромных бараках. Там, вооружившись зачатками сценария, эти первые режиссеры засняли на пленках свои первые фильмы, вызвавшие открытие кино-театров во всех уголках Соединенных Штатов. Заснятые с ничтожными расходами, эти первые ленты принесли своим смелым создателям порядочные барыши. Почему бы Эрику

не испытать свой артистический вкус и свои способности в этом новом искусстве?

Вначале Эрик восстал против этого начинания, «годного лишь для цирковых клоунов». Он ссылался, к тому же, на свою полнейшую неопытность во всякого рода делах. Но Пегги настаивала, приводила цифры, давала адреса поставщиков. Она раздобыла разрешение модного писателя, заявлявшего, что он будет в восторге, если барон воплотит на экране его произведения. В конце концов, Эрик нанял сарай на окраине города. Он набрал актеров-любителей и заснял свою первую ленту, более чем посредственную, но принесшую ему, тем не менее, солидные барыши.

— «Cheer up, my dear!»¹ Продолжайте и полагайтесь во всем на меня! — говорила ему невеста.

Несколько недель спустя барон, опять-таки по совету Пегги, продал всю свою продукцию на два года вперед. Его невеста повела его тогда в банк, который, под залог его контракта, снабдил его необходимыми суммами, чтобы выстроить студию, нанять фотографа-профессионала и обеспечить сотрудничество хороших актеров. Эрик заявил, тем не менее, что вся эта работа носит лишь временный характер, в ожидании, пока брак принесет ему освобождение. Он послал в Кронберг фотографию своей невесты. Баронесса ответила прочувствованным письмом по адресу «маленькой миллиардерши». Но господин Шварц осведомлялся об адресе фамильного нотариуса Кросли. Эрик, в полной уверенности, что он вскоре женится на богатейшей наследнице Луизианы, сухо ответил ему, что осведомляться о состоянии своей будущей жены было бы поступком дурного тона и что, кроме того, он женится по любви и в контракте не потребует от своей невесты никакого приданого.

В мировоззрении Эрика происходила медленная эволюция. При соприкосновении с американской жизнью он усвоил привычку работать. Новое представление о чести мужчины боролось с его первоначальной мечтой о богатой жене, оплачивающей праздность мужа. Женщина больше не представлялась ему полурабыней, как это бывает в Старом Свете, со всем своим достоянием принадлежащей мужу и повелителю. Он желал свободной и независимой подруги, равной ему в любви, как равен компаньон в делах. Этого часа ждала Пегги. Однажды вечером, она направила их ежедневную прогулку к новым, строившимся в Холливуде студиям, по дороге к горам. Пока были видны лишь несколько голых остовов строений, покрывавших небольшое число квадратных футов, но уже чувствовалось, что вскоре в этой долине зародится мощная промышленность, что новые стеклянные купола раскинутся группами у подножья скалистых отрогов и что в один прекрасный день сотнями вырастут здесь конторы, лаборатории, темные сцены

¹ Смелее, мой дорогой.

и площадки под открытым небом. Пегги начертала перед Эриком блестящие перспективы ближайших же дней кино. Она выбрала этот ландшафт, на фоне которого уже проявило себя будущее великое искусство американцев, для того чтобы сделать признание, от которого зависела вся ее жизнь маленькой девушки-янки.

— My sweetheart, — сказала Пегги, — я всего лишь бедная стенографистка. Я родилась в Луизиане, но родители мои простые фермеры. Я получала ваши письма в отеле «Александрия», так как каждое утро, пока вы спали, ленивец, я писала там под диктовку богатого дельца. Я солгала вам, потому что любила вас. Когда я обещала вам, что со мной вы будете богаты, я подразумевала под этим труд, к которому я вас приучила. Вот и все. Женитесь ли вы теперь на мне, господин барон?

Несколько дней спустя письмо, помеченное Луизианой, возвращало вдовствующей баронессе о браке ее сына.

«Мы с женой живем на широкую ногу, — писал Эрик. — У меня есть уже свой автомобиль. Мы поселились на лучшей улице Лос-Анджелеса и, быть-может, купим виллу в Пасадене».

Барон не сообщал других подробностей. К чему? Время от времени приходится оставлять во власти приятных иллюзий стариков, живущих в древних замках Нижней Австрии. В Кронберге долгое время думали, что Эрик, действительно обязанный богатством любви бедной стенографистки, женился в Америке на дочери миллиардера.

XVII.

МИССИС ДЖЕМС ИЛИ ФОТОГЕНИЧНОСТЬ.

Мы познакомились на «площадке» студии. Его звали мистер Джемс. Редко мне приходилось встречать столь безобразного человека, но как раз это исключительное его безобразие и делало его ценным для режиссеров «типом» в заседаниях суда присяжных, в правительственных советах и даже в салонах высшего общества. Своему безнадежно лысому лбу и своему совершенно невероятному носу мистер Джемс был обязан тем, что у него ежедневно была работа. Напротив, миссис Джемс с трудом удавалось раздобыть себе пять или шесть дней в месяц. А между тем, она была красива, нарядна, элегантна. Но в Лос-Анджелесе вы найдете ту же обольстительную улыбку, те же белокурые волосы, те же стройные ножки у десяти тысяч женщин. Парадокс кино? Вследствие превратностей фортуны, эта супружеская чета направилась в Калифорнию в надежде, что очаровательная миссис Джемс составит себе имя на экране, и против всякого ожидания, директора провозгласили «фотогеничным» безобразного мистера Джемса!

Я любил беседовать с этим уродом. Он обладал тем глубоким взглядом на вещи, который дается лишь одними несчастными. Вкус его был тонок, суждения верны. Вскоре я стал своим чело-

веком у него в доме, но прежде, чем явиться туда, я всегда предварительно убеждался в присутствии хозяина. Я боялся, что наедине с его женой я найду ее слишком соблазнительной, а я ведь искренне уважал ее мужа.

Но подобного рода щепетильность является лишь вызовом духу зла.

Этот последний ответил на него, еще раз поставив на жизненной сцене свою драму вечного искушения. Однажды каприз седьмого искусства усадил меня рядом с миссис Джемс в один из экипажей, отвозивших в Санта-Барбару группу Джорджа Фицмориса. Мистер Джемс не принимал участия в этом путешествии. С раннего утра до самого вечера катились мы среди волшебного пейзажа, где принаряженные рукой природы морские ландшафты чередовались с видами гор. Крутые повороты бесконечной, цепляющейся в виде карниза дороги поминутно приближали ко мне стройную фигуру моей спутницы. Впрочем, она довольно охотно мирилась с этими толчками и даже несколько преувеличивала неизбежность соприкосновений. К моменту нашего прибытия ее рука лежала в моей. Нас ожидала гостиница, все окна которой пылали в последних лучах заходящего солнца. После обеда, когда я направился в свою комнату, миссис Джемс последовала за мной. Окно, раскрытое настежь, выходило в цветущую апельсиновую рощу. Все участвовало в заговоре: восходящие к нам ароматы, отблески в море луны, песнь кузнечиков, нега калифорнийской ночи.

— Sweetheart! Любимый мой! — прошептала миссис Джемс, протягивая мне губы.

Почему в эту минуту не погрузил я руки в ее белокурые волосы, не запрокинул эту головку, не сорвал первый незабываемый поцелуй, который один стоит всех последующих минут упоения? Просто-напросто потому, как я думаю, что, устав от путешествия, я больше всего хотел спать. Но я желал придать своему образу действий более благородные побуждения. Низкий поступок ведет к душераздирающей драме, но поступок благородный часто оказывается лишь комедией.

— Мадам, — ответил я, — это будет нехорошо. Вы знаете, какую дружбу я питаю к мистеру Джемсу. Я пожимаю его руку. Я сижу за его столом. Могу ли я воспользоваться подобным случаем, чтобы обмануть его доверие? Как вы думаете?

— Я думаю, что у каждого бывают свои основания, не всегда понятные другим. Вы уклоняетесь из щепетильности, а не потому, что находите меня неинтересной. Этого достаточно, чтобы мое женское самолюбие не было уязвлено этим приключением. Но «почему» моего предложения не уступает по своей сложности «потому что» вашего отказа. Я хотела лишь отомстить за оскорбительную ко мне несправедливость. Муж мой чудовищный урод, но режиссеры беспрестанно снимают его «большим планом». А меня, женщину красивую, очень красивую, пускают в дело не

больше одного раза в неделю, да и то лишь простой статисткой в толпе! Теперь вы поняли? Я не сержусь на вас, так как я совершенно вас не желаю. . . Меня интересовала лишь моя месть, а не ваша особа. Спокойной ночи!

И миссис Джемс удалилась.

Какому мужчине, по меньшей мере хоть раз в своей жизни, не приходилось сталкиваться с искушением в образе миссис Джемс? Муж далеко. У женщины есть свои причины. И тот, кого жесточайшая нужда не принудила бы взломать денежный шкаф незнакомца, с легким сердцем посягает на супружеский альков своего лучшего друга! При помощи какой причудливой казуистики освобождаем мы половые отношения от элементарнейших правил морали? Любовь — великий мятежник нашей романской цивилизации. Напрасно эта последняя с каждым веком все утончается: любовь остается все той же анархистской первобытных веков. Янки не так снисходительны к этому вечному мятежнику. Заатлантический кодекс так же строго защищает моральную собственность, как наше законодательство — собственность материальную. Вокруг закона о соблазнительстве американский законодатель сгруппировал целую серию угроз возмещением убытков, направленных против любовника, соблазняющего жену, и даже против тещи, поощряющей дочь к пренебрежению мужем. У нас подобное законодательство послужило бы неисчерпаемым кладезем для авторов водевилей. В Нью-Йорке же или Бостоне судьи безжалостно применяют его, и никто не смеется.

У нас истца осмеяли бы точно так же, как и ответчика. Стали бы смеяться над женой, любовником, тещей. В особенности же стали бы смеяться над мужем. Вор был бы осмеян, а обворованный еще больше. Что же касается щепетильности, подобной той, какую, как мне казалось, я проявил, по отношению к мистеру Джемсу, то над ней издавна тяготеет уже печать насмешки. Но это не затмит в моей памяти поступка, который я с каждым днем все более и более ценю. В самом деле, поступок мой, далеко не стираясь со временем, лишь покрывается тем блестящим налетом, который время придает старым картинам. Воспоминание о нем цветет живыми красками. Я не помню уже больше об истинной причине своего отказа, то-есть о смертельной усталости и непреодолимой потребности во сне. Но незабвенные черты мистера Джемса живут во мне. Он расширился до понятия символа. Без сомнения, я больше не встречу его в этом мире, но он поможет мне получить награду в ином. Я предвижу час, когда ему одному я буду обязан смыслом своего существования. Уже теперь, по вечерам, когда меня охватывает чувство отвращения к самому себе, ему одному я обязан тем, что могу поднять голову. Я вижу его. Он говорит со мной. Я понимаю его. Он говорит мне:

— Полно! Мужайся! Ты лучше других! Ты отнесся с уважением к жене твоего друга Джемса!

XVIII.

РУДОЛЬФ ВАЛЕНТИНО ИЛИ ЧРЕЗМЕРНАЯ КРАСОТА.

Среди толпы золотоискателей, собравшихся в здании, воспроизводившем дансинг-холл северо-западной Канады, среди толпы, которая должна была воскресить к жизни тот героический век, когда авантюристы устремились в этот край за золотыми самородками, я заметил Рудольфа Валентино. Я встречал его за несколько месяцев до того в Нью-Йорке. Он обивал тротуары в про-



Рудольф Валентино.

межутке между двумя невероятными должностями, которые только один лишь Новый Свет может преподнести интеллигенту-европейцу. Так как технический персонал, по какой-то счастливой случайности, еще не был готов, то мы уселись перед двумя стаканами лимонада, походившего цветом на ямайский ром.

— Скверно, — сказал мне Валентино с откровенностью, очень редкой в стране, где американский блэф столь же силен, как и наша романская страсть пускать пыль в глаза. — Если вы помните нашу последнюю встречу, я в то время только что потерял место учителя в школе языков, где я преподавал смесь французского с итальянским для круговых поездок агентства Кука. Получив отращение к свободным профессиям, я вскоре решил искать защиты в физическом труде, так как надеялся, что в этом случае профессиональная организация гарантирует меня от вторичного таинственного увольнения. Я нанялся мыть посуду в довольно сомнительном ресторанчике. Проработав всего лишь четыре дня,

я получил извещение больше не приходить. Чем объяснялся этот новый внезапный отказ? Я не знаю этого и по сей день. Наскучив городом, я отправился в деревню. После трех дней странствования я оказался у входа во дворец на равнине Лонг-Айлэнда. Принятый местным миллиардером, я вскоре получил задание, в качестве садовника-пейзажиста, разбить вокруг замка французский парк. Я ревностно принялся за работу, как вдруг однажды утром мой хозяин, переменив за ночь свое намерение, приказал немедленно вырвать мои тиссы и сравнять с землей мои клумбы. Эта катастрофа совпала с возвращением жены владельца из Европы, — но я тщетно пытался впоследствии отыскать причинную связь между этими двумя событиями. Было от чего притти в отчаяние. Тогда я решил, что если уж умирать с голода, то умирать на солнышке. Я отправился в Калифорнию. Я был поочереды ковбоем, приказчиком в магазине, профессиональным танцором и каждый раз терял свое место столь же непонятным образом, как и раньше. Вы видите меня теперь кино-статистом. Повидимому, золотоискателям будет работы дня на три. Дай бог, чтобы меня не прогнали раньше!

Я сказал ему:

— Валентино, если бы было правдой, что через женщин достигают всего, то такой красивый малый, как вы, мог бы считать себя привилегированным в житейской борьбе. Но еще долго мы будем достигать чего бы то ни было лишь при посредстве мужчин, и как раз ваши эстетические достоинства, возбуждая вокруг вас опасную ревность, преграждают вам путь неизбежными препятствиями. Вы слишком красивы. Я не думаю, чтобы я ошибался. Воспоминания ваши приобретут большую точность, — соберите-ка их! В вашей школе языков учились женщины; одни из них были стары, другие молоды, но все они в равной степени были во власти ваших чар. Женский энтузиазм, когда он достигает подобных размеров, не может не возбудить толков в городе. У ваших поклонниц были отцы, мужья, братья, женихи. Вокруг вас самих были коллеги, директор, мнимые друзья... Да, я знаю... Красота излишня для мужчины, и только ум его принимается во внимание. Женщины делают вид, что подчиняются этому пристрастному решению, вынесенному большинством мужчин, то-есть уродами. Но достаточно появиться такому парню, как вы, и самая покорная из них выдаст себя. И ревность самцов тотчас же пробудится! Ах, эта ревность мужчины!.. Женская ревность — это общеизвестная истина, которой не оспаривают, и напрасно. Вопреки мнению, распространенному среди мужчин, в девяти случаях из десяти, я констатировал полное беспристрастие в тех эстетических суждениях, которые женщины высказывают одна о другой. Поминутно я слышу, как какая-нибудь из них объявляет без всякой горечи, а нередко даже и с удовольствием:

«— Такая-то красива. . . Такая-то восхитительна. . .»

«Напротив, попробуйте в обществе безобразных мужчин — мы почти все безобразны — провозгласить во всеуслышание:

«— Такой-то красив! . . .» — и вы увидите, какой прием окажут вашему замечанию. Понаблюдайте-ка за своими слушателями!

«Т а к о й - т о к р а с и в!» Подождите несколько секунд, пока среди мертвого молчания, воцарившегося вслед за этой фразой, ревность мужчины не соберется с силами, не организуется. . . и вы услышите, как кто-нибудь бросит первым:

«— Да, но. . .», — за которым последует множество других:

«— Да, но ведь это дурак! . . . Да, но разве вы не знаете? . . .»

«Понимаете ли вы теперь причину ваших неудач? В ресторане, где вы мыли посуду, на вас, без сомнения, с восхищением взирали служанки, к великому ущербу хозяина или, быть-может, даже повара. Позднее, в замке миллиардера, внезапно пробудившаяся симпатия жены к новому садовнику тотчас же осудила в глазах мужа ваши клумбы и тиссы! Когда вы были ковбоем, не было ли дочери у хозяина вашего ранчо? В магазине кокетливые взгляды приказчиц лишили вас доверия торговца. В кабачке, где вы танцевали, клиенты, без сомнения, пригрозили не приводить больше клиенток. Подобный же рок будет преследовать вас до того дня, пока какое-нибудь исключительное положение, завоеванное вами одним ударом, не защитит вас от нашей мужской ревности к чьей бы то ни было красоте; но до той поры зависть, клевета и несчастья будут преследовать вас!»

Едва я закончил свою мысль, которую многие сочтут за парадокс, как одно движение звезды труппы послужило иллюстрацией к теории, развиваемой мною перед чересчур красивым мужчиной.

— Вы не находите, что ваш товарищ чертовски симпатичен?

Это сама Дороти Дальтон уселась за наш стол и обратилась ко мне, смотря прямо в глаза статисту Валентино.

Подобное нарушение законов кино-иерархии не могло остаться незамеченным. Режиссер фильма был обязан своим директорским рупором своему положению любовника звезды. Он достаточно хорошо разбирался в «мимике», чтобы не ошибиться относительно выражения, внезапно появившегося на лице знаменитости. Последовал его короткий разговор с одним из его помощников. Несколько минут спустя, среди суматохи, предшествующей обычно началу съемки, Валентино услышал, как ему сказали:

— Можете идти. Вы нам больше не нужны. Ваш день будет оплачен вам полностью.

Еще до сих пор в ушах моих звучит тот скорбный тон, которым прощался со мной будущий король первых любовников.

— Неужели я должен вышибить себе зубы или свернуть нос, чтобы получить работу?

По счастью, Рудольф Валентино не был доведен до необходимости убить свою красоту, чтобы получить возможность существо-

вать... Несколько месяцев спустя после этого происшествия, в одно прекрасное утро, недавний статист проснулся знаменитостью. За «Четырьмя всадниками Апокалипсиса» последовали «Кровь и песок», «Молодой раджа» и, наконец, «Шейх». Ныне Валентино обеспечен по контракту содержанием в 3000 долларов в неделю. Но мужская ревность еще не обезоружена этим. Она подстерегает его.

Бедняк может простить другому, что тот богат, так как достаточно быть оптимистом, чтобы надеяться в один прекрасный день достигнуть богатства. Дурак может простить другому, что тот умен, так как ум есть нечто спорное и неосязаемое, и в этой области глупейший из смертных может, по меньшей мере в собственных глазах, питать сомнения. Но урод не прощает другому его красоты, так как эстетические недостатки представляют собой нечто абсолютное, бесспорное, неотрицаемое, и мы, презираемые в жизни и на экране, читаем это в равнодушном взгляде каждой встречной женщины.

XIX.

ДЖЕМС УИЛЛАРД ИЛИ КОНЕЦ ЧЕМПИОНА.

— У меня есть роль для вас, — сказал мне однажды *casting director* Брэнтона. — Две недели по сто пятьдесят долларов за каждую. Это вас устраивает?

Столь необычайная щедрость по отношению к актеру, заработок которого до сих пор никогда не превосходил 100 долларов в неделю, могла бы меня удивить, если бы в тот момент, когда я подписывал контракт, мне не сказали мимоходом:

— Вы будете играть «злодея» в фильме, где Джесс Уиллард играет героя.

Нет надобности быть кино-артистом, чтобы понять, какие грозные перспективы открывали мне эти слова. На экране преступления «злодея» неминуемо навлекают на этого безнравственного персонажа примерное наказание, осуществление которого по праву принадлежит герою. И вот, в данном случае, роль этого последнего должен был играть чемпион бокса, тогда как я едва ли мог бы устоять против боксера-кенгуру!

Все дороги ведут к завоеванию кино-славы. Скандал однажды доставил известность Эвелине Несбит, героине знаменитой драмы. Танцы проложили путь к экрану Глэдис Уолтон, Доральдине, Ирине Каствль, Рудольфу Валентино. Эдди Поло обязан почестями кино своему прошлому знаменитого акробата. Аннета Келлерман, чемпион плавания, фигурирует в фильмах, изображающих водную стихию. Пение снискало Джеральдине Фаррар преимущество выражать посредством немного искусства те чувства, которые певица передавала прежде ритмом звуков под лиру Эвтерпы.

Чемпионы бокса, Джим Корбет, Джесс Уиллард, Джордж Карпентер, воплощающие пред объективом героя, доказали, что, если в жизни сила первенствует над правом и нравственностью, то это не мешает ей защищать их в сценарии. Любопытно отметить при этом, что силачи-исполины выказывают себя довольно хорошими кино-артистами. Я работал с Джессом Уиллардом: этот колосс был скуп на движения, но его крупные черты выражали весьма тонкие переживания.

Легко понять, что кино-директор лишь с трудом может устоять против искушения доверить свою первую роль какой-нибудь знаменитости плавательного бассейна, спортивного поля, сцены, цирка или скамьи подсудимых. Для фильма это бесплатная и заранее уже обеспеченная реклама. Но популярность, завоеванная на ином поприще новым светилом экрана, не всегда является гарантией успеха ленты. Акционеры компании, заснявшей фильм с Карузо, некогда убедились в этом на собственной шкуре, когда ни один кино-театр Америки не пожелал демонстрировать плачевнейшей мимики величайшего из певцов. Но если фильм с Джессом Уиллардом потерпел фиаско, то виной этому была не игра знаменитости, равно как и не сценарий, не декорации и не дирекция. Неудача предприятия была обусловлена обстоятельством, не зависящим от производства: выпуск фильма совпал с поражением Джесса Уилларда новым чемпионом Демпси, и эта блестящая победа лишила всякого интереса две тысячи метров пленки, отныне не находившей спроса.

К тому же, предположив даже, что победа Джесса Уилларда окружила бы демонстрацию его фильма атмосферой апофеоза, я все же сомневаюсь, чтобы финансовый успех вознаграждал эту кинематографическую попытку. Дело в том, что в Америке для успеха ленты мало больших капиталов, талантливой «светила», хороших актеров, хорошего режиссера, хорошего фотографа и милостивого солнца. Что дало бы создание лучшего фильма на свете, если бы создатель его, подобно антрепренеру, пригласившему Джесса Уилларда, был независим, изолирован, ни явно, ни тайно не связан с «цепью» кино-театров, объединенных в трест.

Трест? Мы коснулись самой сути вопроса. Кино, занимающее третье место в промышленности Соединенных Штатов, в наше время не может, равно как и все другие предприятия янки, существовать помимо треста. Что такое американский трест? Это объединение определенного рода богатств в руках группы дельцов, которые отныне регулируют их себестоимость и продажную цену, устанавливают нормы производства, обращения, потребления. Сколь ни чудовищными могут показаться методы управления американского треста, надо все же признать, что именно эта экономическая тирания создала современные Соединенные Штаты и превратила маленькую колониальную Америку Вашингтона в могущественнейшую державу земного шара. Трест управляет ныне в Америке всем, что выпивают, поедают, носят, потре-

бляют, продают и расточают. От предметов первой необходимости до предметов роскоши ничто не избегнет его. Вот стальной трест с его капиталом в два миллиарда долларов. Вот табачный трест с 250 фабриками и 60 000 магазинов. Из Чикаго мясной трест, владеющий 16 миллиардами франков, может морить голодом сто миллионов желудков, зависящих от прихоти поездов ледников, кораблей-холодильников, газет, банков и складов этой гигантской организации. Сахарный трест владеет 85% американских рафинадных заводов. Нефтяной трест руководит всей внешней политикой Соединенных Штатов, объявляет войну, заключает мир и на президентских выборах посылает своего кандидата восседать в Белом Доме. Есть трест крахмальных воротничков, трест бэз-бола, трест театров, трест мюзик-холлов. Кино-трест объединяет 20 000 экранов. Кто может измерить подлинное могущество американского кино-треста? Центральную организацию образует группа, опирающаяся на заявленный основной капитал в 32 миллиона долларов. Одна лишь группа контролирует 75% американских фильмов, начиная с фабрикации целулоида, который должен послужить материалом для пленки, и кончая проектированием этой последней на экране в самой глухой деревушке. Быть-может, вы настолько наивны, чтобы думать, будто частное лицо может открыть где-нибудь в Америке кино-театр и демонстрировать в нем какие-угодно ленты? Ни в коем случае! Едва вы прибудете свою вывеску, как к вам уже явится представитель треста:

— Вы будете демонстрировать исключительно наши фильмы и на наших условиях.

Если вы будете сопротивляться, другой театр, поддерживаемый неистощимой денежной кассой, откроется рядом с вашим. Если вы будете продавать ваши места по двадцать сентов, ваш конкурент будет продавать свои по десяти, а в случае надобности, будет отдавать их и даром. Чтобы раздавить вас, соседний театр будет каждый вечер менять программу. После двух месяцев подобного режима вы потерпите крах. Трест выкупит ваше предприятие, и если он захочет проявить свое великодушие, предложит вам место заведывающего кино-театром, который был прежде вашим. Вокруг треста существуют под-тресты. Комбинации их бесконечны. Вне их ни директору, ни актеру, ни сценаристу, ни фотографу, ни владельцу кино-театра, ни владельцу кино-студии, кому бы то ни было — нет спасения!

Фильму Джесса Уилларда суждено было ознаменовать конец спортивной карьеры чемпиона, равно как и конец моей карьеры кино-актера. Впрочем, нельзя сказать, чтобы это произошло от моего невнимательного отношения к своей роли. Отказавшись от «дублеров», на которых давало мне право мое положение актера, я не задумался в течение двух недель предаваться самым опасным акробатическим упражнениям. Я руководил головокружительными атаками, во время которых мексиканцы Лос-Анджелеса, парик-

махеры и сапожники, чересчур пылко воскрешали подвиги своих предков индейцев. Перед бесстрастным взором объектива я позволял мстительным кулакам чемпиона оглушать меня вместе с двенадцатью другими бандитами. Я падал с высокого утеса в море вместе с экипажем, который разбивался вдребезги, и мулом, который тонул. Но вот, в центральном эпизоде, где я должен был убить инженю ударом рукоятки револьвера по голове, меня охватила внезапная слабость. В языческих преданиях рассказывается о руках, оставленных таинственной силой и бессильно опускавшихся, не будучи в состоянии поразить невинную жертву. Пришлось повторить сцену дважды, пять раз, десять раз. После получаса бесплодных попыток директор крикнул мне:

— Вы заставили меня потерять тридцать минут и тысячу двести пятьдесят долларов! И вдобавок еще, вы плохо убиваете!

Пятьсот тысяч долларов расходов, разделенных на двадцать дней, составляют 25 000 долларов в день, и на десять часов работы. . . Режиссер считал как нельзя более верно! И к тому же еще, я плохо убиваю! Выражение это имело успех, но погубило меня. Отныне я был для всех лишь презренным преступником, который, пройдя через все этапы злодейства, внезапно останавливается перед последним и, охваченный страхом, стуча зубами и не сопротивляясь, ожидает своего ареста полицейскими, взбудораженными толпой честных людей. Во всех студиях, куда бы отныне я ни являлся, меня встречали презрительной фразой:

— Да, но ведь вы плохо убиваете!

Надежда на новые роли «злодеев» рухнула навсегда. Должен ли я вновь начать с первой ступени кино-карьеры, возвратиться в толпу «экстра», попытаться пробраться чрез трудные этапы к новому «типу»? Я не чувствовал в себе больше мужества. Я сказал прости Лос-Анджелесу и американскому кино.

Мой уход не оставил во мне, впрочем, ни малейшей горечи. Я был другом бродяги Каликао; я был убит Джессом Уиллардом, чемпионом мира; я повстречался с Дон-Жуаном; я отнесся с уважением к жене моего друга Джемса; я пережил также однажды трогательнейшую страницу «Манон Леско» — и все это случилось со мной на протяжении одного года. Есть люди, жизнь которых за три четверти века менее наполнена событиями, чем моя за двенадцать месяцев пребывания в стране кино.

О Г Л А В Л Е Н И Е.

	Стр.
Предисловие к русскому изданию	5
I. Лос-Анджелес или кино-горячка	11
II. Теда Бара или женщина-вампир	15
III. Вильям Харт или красота души	18
IV. Пикфорд-Фэрбенкс или оптимизм	22
V. Чарли Чаплин или трагедия комика	25
VI. Свет и тени жизни кино-артиста	28
VII. Каликао	32
VIII. Джеральдина Фаррар или костюм делает большевиком	38
IX. Пионеры экрана	42
X. Назимова и Маргарита Кларк или влюбленные звезды экрана	48
XI. Франк Кинан или как опасно быть злодеем	51
XII. Лью Коди или воскресший Дон Жуан	55
XIII. Эрл Вильямс или месть женщины	59
XIV. Эстрелла или парадокс кино	64
XV. Полина Фредерик или достоинство кино-артиста	67
XVI. Эрик фон Штрогейм или богатая невеста	73
XVII. Миссис Джемс или фотогеничность	78
XVIII. Рудольф Валентино или чрезмерная красота	81
XIX. Джесс Уиллард или конец чемпиона	84

